

Голсуорси Д.



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ:
СОБСТВЕННИК

Джон Голсуорси
Собрание сочинений.
Собственник

Серия «Хроники семьи Форсайтов»
Серия «Сага о Форсайтах», книга 1

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=131956

Голсуорси Д. – Собрание сочинений: Собственник: Роман. Пер. с англ.;

Вступ. ст. Д. Жантиевой. : «У китувичи»; Москва; 2008

ISBN 978-5-486-02616-4, 978-5-486-02604-1

Аннотация

«Сага о Форсайтах» известного английского писателя Дж. Голсуорси (1867 – 1933) – эпопея о судьбах английской буржуазной семьи, представляющей собой реалистическую картину нравов викторианской эпохи. «Собственник», первый роман цикла, рассказывает о веке, когда родовой инстинкт был главной движущей силой. Но никакие семейные устои, домашний очаг и собственность не могут противостоять хаосу, который вносит в жизнь человека Красота и Страсть.

Содержание

Джон Голсуорси	5
Предисловие автора	65
«Сага о Форсайтах»	71
Часть первая	71
I	71
II	100
III	125
Конец ознакомительного фрагмента.	136

Джон Голсуорси

Собрание сочинений.

Собственник

© ООО ТД «Издательство Мир книги»,
оформление, 2008

© ООО «РИЦ Литература», состав, комментарии,
2008

Джон Голсуорси

(1867–1933)

«Размышления о нашей нелюбви к вещам как они есть» — так назвал Джон Голсуорси статью, написанную им в начале его творческого пути. Протестуя против фарисейских запретов и условностей, сковывающих английскую литературу, он утверждал, что долг художника — изображать подлинную жизнь. Эта мысль была девизом нескольких поколений английских реалистов, которым приходилось бороться за право изображать «вещи как они есть», за право ставить в романе острые социальные проблемы своего времени. История этой борьбы отмечена не только победами, но порой и компромиссами и поражениями. Для того чтобы понять необходимость такой борьбы в начале XX века, когда Голсуорси стал писателем, нужно представить себе атмосферу, которая царилa в это время в английской литературе.

На «литературном климате» Англии сказался духовный кризис, который переживала буржуазная культура конца XIX — начала XX века. Сошли со сцены великие английские реалисты «блестящей плеяды», немногим их последователям приходилось противостоять все усиливающимся антиреалистическим, декадентским течениям. Буржуазные критики поддерживали тех, кто, как Киплинг, прославлял бри-

танский империализм. Многие из них благоволили к писателям-эстетам, призывавшим литературу к уходу в мир «чистого искусства». Велик был также удельный вес литературы, рассчитанной на требования книжного рынка, романов с захватывающей фабулой и «счастливым концом». Авторы этих романов, обходя острые углы, удовлетворяли давно укоренившемуся в английских издательствах требованию не касаться мрачных сторон действительности. Как писал позднее Голсуорси в статье «Кредо романиста», это требование выдвигала «критическая школа, которая стремится свести круг сюжетов в романе к тому, что желательно дать в руки молодой девице, – критическая школа, уже давно воплощенная в образе Подснепа».

Не случайно вспомнил Голсуорси мистера Подснепа из романа Диккенса «Наш общий друг» – самодовольного английского буржуа, убежденного в превосходстве всего английского, стремящегося навязать пуританские требования литературе. Мир диккенсовских образов – родной мир для Голсуорси. Плодотворным для его творчества оказалось стремление следовать традициям критического реализма Диккенса и других английских классиков. Это было несколько необычно в то время, когда выступившие на авансцену эстеты требовали от литературы «бесстрастности» и ополчались на писателей, выражавших ненависть к социальному злу. В предисловии к «Холодному дому» Диккенса, написанном в 1912 году, Голсуорси, восставая против «бесстрастно-

сти» эстетов, говорил о том, какой резкий контраст их установкам представляет собой творчество Диккенса, который ненавидел подлость и жестокость всей силой своего благородного сердца. Подлость и жестокость в их новом обличье Голсуорси видел и в современной ему Англии.

Голсуорси вошел в литературу в начале XX века, в период, когда в стране ширилась оппозиция политике империализма, посредством которой Англия пыталась разрешить внутренние противоречия, рос протест рабочего класса против своего положения «другой нации».

Истинную суть британской внешней политики раскрыла Джону Голсуорси позорная для Англии война с бурами 1899–1902 годов, вызвавшая в нем возмущение. Война заставила его также яснее увидеть несправедливость господствующего в Англии правопорядка. Чувство ответственности перед обществом становится основным качеством Голсуорси-писателя. Этим он близок к Герберту Уэллсу, почти ровеснику его, несколько ранее вошедшему в литературу, и к их старшему современнику Бернарду Шоу. Как и эти писатели, Голсуорси содействовал становлению критического реализма XX века, стремился поднять роль литературы, призванной, по его убеждению, быть средством глубокого осмысления жизни и критики социальных институтов своего времени, носителем гуманных идей.

Заслуга Голсуорси, выдвинувшего такое понимание задач литературы, станет тем более очевидной, если вспомнить,

что он отнюдь не был подготовлен к этому своим воспитанием, средой, в которой он вырос. В ответ на запрос издателя одного журнала о том, как он стал писателем, Голсуорси сообщал, что до 28-летнего возраста он «не воспринимал литературу всерьез», что, будучи «воспитан в английской закрытой школе и университете, питал склонность к спорту и путешествиям, имел небольшой самостоятельный доход и был непрактикующим адвокатом». Из других высказываний Голсуорси и из его произведений мы знаем, что в английской привилегированной школе и привилегированном университете, в данном случае Оксфордском, готовили «джентльменов», которые должны были смотреть на жизнь сквозь призму своего положения в обществе, мыслить стандартно и подавлять в себе все эмоции, связанные с восприятием подлинного искусства, ибо они объявлены «сентиментальностью».

Как же отзывался сам Голсуорси о своих первых литературных опытах? Рассказы сборника «Под четырьмя ветрами» (1897), возникшие в результате его кругосветного путешествия, он считал экстравагантными по тематике, лишенными глубины чувства, философской мысли, темперамента. В процессе работы над романом «Джослин» (1898) он, по его словам, стал постигать то, что называют «ощущением характера», но, говорит он, роман был плох, нельзя было сказать, что он «написан». Вскоре после выхода этих вещей, не имевших успеха, Голсуорси начал читать Тургенева и Мопассана. «Это, – отмечал он, – были первые писатели, которые сразу

же возбудили во мне подлинное эстетическое волнение и открыли мне глаза на то, что значит чувство пропорций в трактовке темы и экономия слов. Вдохновленный ими, я начал второй роман – „Виллу Рубейн“. Он больше приближался к подлинному роману, в нем чувствовалась атмосфера и были соблюдены пропорции, но и он все же не был „написан“».

В романе «Вилла Рубейн» (1900) впервые затронута важная для Голсуорси тема – противопоставление искусства, в котором писатель видел животворную, преобразующую силу, дух свободы, нравам общества, чуждого свободной творческой мысли, живущего по омертвелым традициям. Наиболее удался автору образ Николаса Треффри. Его внучка ломает традиции семьи, уходит из дому с художником Гарцем, мятежным человеком, появление которого нарушает устоявшийся уклад жизни на вилле Рубейн.

В основных ситуациях, в трактовке образов романа чувствуется влияние Тургенева, атмосфера «Дворянского гнезда», отчасти «Рудина». По свидетельству друзей Голсуорси, русский писатель оказал на него глубокое духовное воздействие. Сам Голсуорси вспоминал в предисловии к «Холодному дому», что Тургенев овладел его умом и душой, когда он впервые познакомился с ним. Позднее он писал, что видит между ним и Диккенсом следующие точки соприкосновения: глубокое понимание человеческой натуры, глубокий интерес к жизни, глубокую ненависть к жестокости и обману. Изучение Тургенева помогло Голсуорси увидеть, как под-

линный писатель подходит к жизни, помогло различить основные силы, действующие в обществе, выразить их через характеры.

Вышедший через год после «Виллы Рубейн» сборник рассказов «Человек из Девона» доставил писателю, по его словам, большее удовлетворение, чем предыдущие вещи, хотя он полагал, что и эти рассказы еще нельзя было считать «написанными». Через несколько лет он основательно переработал их, так же как и «Виллу Рубейн».

Любовь к родному Девонширу помогла автору придать поэтическую прелесть произведению, давшему название сборнику. В рассказе показаны красота девонширской природы, жизнь обитателей приморской деревни (среди них есть потомки пиратов, сподвижников Дрейка), трагическая история молодой любви.

Примечателен в сборнике рассказ «Спасение Форсайта»; в нем впервые выведен представитель семьи, с которой неразрывно была связана почти вся творческая жизнь Голсуорси. Путешествуя в молодости по Европе, Суизин Форсайт случайно сталкивается с семьей венгерского революционера Болешке и его друзьями, участниками революции 1848 года в Венгрии. Перед Суизином приоткрывается дверь в совсем иную жизнь; она привлекает своей необычностью и в то же время отталкивает: ведь она противоречит форсайтским нормам! С точки зрения этих норм неприлична манера открыто и смело выражать свои чувства, да и самые чувства эти

так странны. «Свобода, равенство, самопожертвование», — слышать эти слова было «все равно, что смотреть на то, чему нет места при дневном свете». Почему бы им «не заняться каким-нибудь настоящим делом вместо этой болтовни?» Форсайт не в состоянии постигнуть, как можно заниматься тем, что не приносит выгоды. И все же Суизина притягивает семья Болешке, чувство, которое он испытывает к его дочери, похоже на любовь, и, может быть, это единственная подлинная любовь в его жизни. Но форсайтская натура Суизина берет верх: опасаясь, что ему готовят ловушку, чтобы женить его, он обращается в бегство. Суизин спасает свою форсайтскую цельность, но в конце жизни, на смертном одре, он не может отделаться от смутного ощущения, что утратил нечто очень важное.

Позднее Голсуорси писал, что рассказ «Спасение Форсайта» «высвободил сатирика» в нем. И правда, здесь впервые сказался его сатирический дар: Суизин выглядит таким Джоном Буллем, исполненным сознания превосходства своей страны и своего класса, презиравшим иностранцев. Специфические его черты видны особенно четко при столкновении с людьми иных принципов, иной жизненной философии.

Сатирический метод является основным и в «Острове фарисеев» (1904), самом значительном из всех ранних произведений Голсуорси. По его словам, этому роману предшествовали годы духовного напряжения. Сатира заключает-

ся уже в самом заглавии. Голсуорси назвал Англию «островом фарисеев», подчеркивая распространенность фарисейства среди английских правящих классов... Как не вспомнить определение Белинского, который воспринимал это характерное для английского общества свойство как всеобщее тартюфство! Вспоминаются и слова М. Горького: «...английское лицемерие – наилучшее организованное лицемерие...»¹

В письме к американскому критику У.-Л. Фелпсу, автору статьи о Голсуорси, последний опровергал высказанное в статье мнение, будто путешествия помогли ему по-настоящему увидеть Англию. По словам Голсуорси, тут были иные причины; он назвал две из них. С одной стороны, писал он, сыграла роль англо-бурская война, с другой – встреча с бродягой, черты которого получили воплощение в романе «Остров фарисеев» в образе Феррана.

Встреча героя романа Ричарда Шелтона с «деклассированным человеком», выходцем из буржуазной семьи, свободным от всяких условностей, обладающим даром видеть то, что скрыто за фасадом «порядочного общества», – своего рода фермент, возбуждающий в Шелтоне мучительную работу мысли². В результате он обретает способность увидеть в новом свете респектабельное общество, к которому

¹ Горький А. М. Собр. соч.: В 30 т. М.: Гослитиздат, 1955. Т. 29. С. 399.

² С этим образом Голсуорси не расстается и после окончания «Острова фарисеев»: бродяга Ферран фигурирует также в пьесе «Голубь», в рассказах «Мужество», «Вознаграждение», «Простая история».

он сам принадлежит, переоценить все то, что казалось ему раньше обычным и естественным. Шелтону становится ясной несправедливость порядка, при котором «один обедает на золоте, а другой отыскивает себе обед в помойной яме». Он видит в то же время, что те, кто принадлежит к верхам общества, выдают этот порядок за правомерный и единственно возможный.

Основное определение истоков фарисейства дано в романе устами бывшего актера – одного из обитателей ночлежки, куда Шелтон попадает в поисках Феррана: «Невыгодно добираться до сути вещей!» Шелтон постепенно осознает, что «суть вещей» во всех областях скрыта покровами фарисейства. Оно царит и в сфере колониальной политики (управление Индией, которое приносит Англии большие барыши, именуется великой и благородной миссией), и в сфере религии (служители церкви закрывают глаза на то, что проповедуемые ими правила абстрактной морали вступают в вопиющее противоречие с тяжелым положением бедняков), и в сфере буржуазной семьи (супруги, чуждые друг другу, вынуждены жить вместе, чтобы не нарушать предписанного государством канона о святости брака), и в сфере искусства («романисты в лайковых перчатках» создают литературу, не имеющую ничего общего с жизнью, а драматурги преподносят зрителям «сладкую кашу», превращают театр в «рассадник фальшивых чувств и морали»), и в сфере науки (ученые мужи Оксфорда, накапливающие сведения о вымерших

племенах и греческих глаголах, стараются не проникать в «суть вещей», связанных с запросами жизни, знают, «когда и где следует остановиться»). Фарисейство царит и в высшем обществе. Светские люди, стремясь сохранить свое достоинство, как члены правящей касты верны неписаному закону, обязывающему скрывать чувства помимо тех, что дозволены хорошим тоном; все, что выходит за эти рамки, объявляется «крайностью». «Чувства?! – казалось, говорил всем своим видом собеседник Шелтона. – Чувства! Я родился в Англии и учился в Кембридже...» Старательно оберегая ощущение собственного превосходства, представители высшего общества страшатся «идей» и содержат «свои мысли и мнения в таком порядке, чтобы ничто чуждое не могло ненароком затесаться между ними». «Чуждыми» они считают мысли о бедности, преступлениях, несовершенстве законов. Именуя все это «мрачными сторонами жизни», они стараются не видеть их и тем самым как бы объявляют несуществующими. Воздвигнув барьеры между собой и людьми «не своего круга», они снисходят до бедняков лишь постольку, поскольку филантропия является для них одним из средств заполнить досуг, так же как игра в теннис; доброта, не требующая жертв, вызывает у них приятное ощущение, «словно массаж ног».

Человеческая неполноценность, стандартизация мыслей и чувств людей высшего общества, которые представляются Шелтону «слепками с какого-то одного оригинала», ста-

новятся особенно ясными, когда он сравнивает их с теми, что «на дне», с обитателями ночлежки. В них он видит подлинную человечность, искренность, способность критически мыслить.

На романе сказался тот факт, что автор стремился охватить как можно больше сторон жизни «острова фарисеев»; ряд его мыслей выражен не через образы, а в форме, приближающейся к публицистической. Сам Голсуорси считал, что роман еще не «отстоялся», что «напиток слишком бурлит, чтобы можно было спокойно разлить его в бутылки». Но именно это «бурление» ненависти к фарисеям и придало силу роману Голсуорси. Как выразился его биограф Г.-В. Мэррот, он вонзал стальное оружие иронии и сатиры «в упитанную плоть и ожиревшие души».

Характерные черты персонажей романа выявлены «изнутри», так, как их мог показать человек, который сам принадлежит к этой среде, но поднялся над ней. Именно потому роман этот особенно сильно возмутил буржуазную читающую публику.

Уже в этом раннем произведении Голсуорси проявляет его дар речевых характеристик, получивший развитие в дальнейшем. В этом смысле интересен образ миссис Денант. Вся эгоистическая сущность ее, воспитанное поколениями свойство считаться только со своими интересами выражены в ее речи. Миссис Денант делится с Шелтоном своим огорчением по поводу того, что ее садовник, удрученный поте-

рей жены, стал плохо справляться со своими обязанностями: «Я сделала все, что могла, чтобы подбодрить его, ведь очень грустно видеть его таким подавленным! Ах, дорогой Дик, если бы вы знали, как он калечит мои новые розовые кусты! Боюсь, не сошел бы он с ума; придется мне уволить его, беднягу!» Далее характеристика миссис Денант дается путем так называемой несобственно-прямой речи: «Она, конечно, сочувствовала Беньяну или, вернее, считала, что он вправе погоревать самую малость, поскольку потеря жены – вполне законная и разрешенная церковью причина для скорби. Но впадать в крайности?! Нет, это уже слишком!»

В романе находит действенное применение прием косвенной характеристики через деталь. Чрезвычайно выразительную роль, например, играет рука дорожной спутницы Шелтона – полной дамы с римским профилем. Рука дает представление о том, что ее владелица находится в состоянии презрительного возмущения. Шелтон дал совет девушке, у которой не было денег на билет, а это противоречит понятиям полной дамы о благопристойности. От «холеной, белой руки веяло необычайным самодовольством и обособленностью; какая-то уверенная праведность в ее изгибе, чопорная жеманность отставленного толстого мизинца – все это приобрело совершенно необъяснимую значимость, словно олицетворение приговора, который вынесли его спутники...».

Снимая один за другим покровы с общества фарисеев, Шелтон подвергает сомнению их право рассматривать мир

как свой заповедник и приходит к мысли, что положение, которое занимают они, как и сам он, не более, чем «счастливая случайность». Однако Шелтон не делает последнего, более смелого вывода по поводу системы, порождающей подобные «счастливые случайности».

«Остров фарисеев», в котором дана общая картина буржуазно-аристократической Англии, – своего рода прелюдия к зрелому творчеству Голсуорси, здесь затронуты все волнующие его вопросы современной жизни, которые он рассматривает более пристально в последующих произведениях. В центре романа «Собственник», вышедшего через два года после «Острова фарисеев», стоит проблема семьи – «мощного звена общественной жизни», «точного воспроизведения целого общества в миниатюре». В критике семьи как цитадели устоев буржуазного общества Голсуорси шел по пути своих предшественников – Сэмюэля Батлера, с его романом «Путь всякой плоти», и Бернарда Шоу, назвавшего буржуазную семью «страшным институтом».

На фоне большинства тех романов, которые выходили в Англии в начале XX века, «Собственник» выделился остротой поставленной в нем проблемы. Один из младших современников Голсуорси, Комптон Макензи, писал в своих воспоминаниях, что воздействие этой книги на молодых людей его поколения было подобно электрическому току. Есть все основания считать, что роман «Собственник» – высшее творческое достижение Голсуорси. К такому выводу пришел

и сам Голсуорси, который в конце своего творческого пути заметил, что он пишет романы с большим удовольствием, чем пьесы, и что «Собственник» – самое любимое его произведение.

Многое в «Собственнике» помогает понять особенности творчества Голсуорси. Показав в этом романе семью Форсайтов в период ее расцвета (80-е годы прошлого века), писатель через нее дал представление о целом классе, по чьим законам идет жизнь в стране. Форсайты – финансисты, рантье, члены акционерных обществ – принадлежат к эпохе империализма, когда Англия, после утраты своей промышленной монополии, стала вывозить накопленные капиталы в отсталые страны. Они потомки английских буржуа времен славы Англии – «мастерской мира». Их портреты могли бы занять место в галерее, где выделяются такие образы Диккенса, как владелец торгового дома Домби, как фабрикант Баундерби. Но в романе Голсуорси мы, пожалуй, впервые в английской литературе находим такой глубокий, последовательный анализ собственнической психологии, проявляющейся во всем, начиная от взгляда Форсайтов на колонии Британской империи и кончая их отношением к своему меню.

Представление о непосредственной связи между эксплуатацией природных богатств в британских колониях и обогащением Форсайтов дается в одной из первых глав романа. Николасу Форсайту посчастливилось в этот день осуществить свой план использования на Цейлонских золотых

приисках одного племени из Верхней Индии. «Добыча на его приисках удвоится, а опыт показывает, как Николас постоянно твердил, что каждый человек должен умереть, и умрет ли он дряхлым стариком у себя на родине или молодым от сырости на дне рудника в чужой стране, это, конечно, не имеет большого значения, принимая во внимание тот факт, что перемена в его образе жизни пойдет на пользу Британской империи».

Автор находит наиболее выразительные средства для раскрытия форсайтизма как распространенного социального явления (Голсуорси подчеркивает, что форсайтизм не ограничивается рамками одной семьи, что Форсайтов множество). Он добивается органического единства между исчерпывающим, можно сказать, научным анализом форсайтизма как характерного явления английской действительности и образным выражением его сущности. Эпитеты, сравнения, метафоры объединены в стройную систему единством цели. Их назначение – содействовать более острому читательскому восприятию сути форсайтского миропонимания. Так, через них автор раскрывает, что значат для Форсайтов деньги и вещи. Деньги стали для них «светочем жизни, средством восприятия мира». «Если Форсайт не может рассчитывать на совершенно определенную ценность вещей, значит, компас его начинает пошаливать...» О том, что глагол «иметь» употребляется не только по отношению к деньгам и вещам, говорит формула о бесчисленных Форсайтах, ведущих дела,

«касающиеся того или иного вида собственности (начиная с жен и кончая правом пользоваться водными источниками)».

Критерий денежной оценки, соответствующий строю мыслей Форсайтов, кладется в основу всех авторских определений форсайтизма, в частности в основу характеристики отношений отца и сына. Даже на любви к детям, входящей в сферу чисто человеческих отношений, лежит печать собственнического эгоизма. В основе такой любви – отношение собственника к наследникам своего имущества. Взять хотя бы сравнение: Джемс и Сомс «смотрели друг на друга как на капитал, вложенный в солидное предприятие, каждый из них заботился о благосостоянии другого и испытывал удовольствие от его общества».

Критерий денежной оценки играет роль и в отношениях между братьями; здесь он связан с законом конкуренции, которая царит внутри форсайтского клана, как и в буржуазном обществе в целом. Каждый из шести братьев Форсайтов опасается, что кто-то из пяти остальных «стоит» больше, чем он сам. Этот же критерий применяется и к людям, которые приобщаются к клану Форсайтов. Список свадебных подарков, ценность которых зависит от положения жениха, «устанавливался всей семьей примерно так же, как устанавливается курс на бирже».

Великолепны сатирические метафоры, выражающие сущность форсайтизма. При всем их лаконизме они вбирают в себя обширный смысл. «Все Форсайты... живут в ракови-

нах, – пишет Голсуорси, характеризуя собственническую замкнутость Форсайтов, – подобно тому чрезвычайно полезному моллюску, который идет в пищу как величайший деликатес... никто их не узнает без этой оболочки, сотканной из различных обстоятельств их жизни, их имущества, знакомств и жен...» Для Форсайтов – устриц, замкнутых в рамки своего класса, который они отождествляют со всей страной, – эпитет «иностраннный» всегда является синонимом всего чуждого их классу, подозрительного и недобропорядочного.

Характер благотворительности Форсайтов определяется метафорой о храме форсайтизма, где денно и нощно поддерживается «неугасимый огонь в светильнике, горящем перед богом собственности, на алтаре которого начертаны возвышенные слова: „Ничего даром, а за пенни самую малость“». Этот девиз получает выразительное подтверждение в конце романа. Маленький Публиус, внук Джемса, подал нищему фальшивую монетку, и под влиянием этого известия удрученный заботами Джемс просветлел.

Предельно краткая метафора «их лица – тюремщики мыслей» характеризует скрытность Форсайтов, их связанное с тем же законом конкуренции свойство не показывать своих мыслей и чувств.

Важную роль в раскрытии форсайтизма играют речевые характеристики Форсайтов. Их разговоры, вращающиеся вокруг курса акций, дивидендов, стоимости домов и вещей,

сопровождаются неизменными возгласами: «У Джобсона за это дадут хорошую цену!», «У Джобсона такие вещи уже давно не идут!»; ехидными замечаниями, которыми каждый из них отмечает покупки и продажи другого: «Переплатил!», «Продешевил!» Очень действенна в романе несобственно-прямая речь, когда отрывки разговора вплетаются в авторское повествование. Таким путем, в частности, характеризуются обитатели Форсайтской биржи – дома Тимоти, где «производился обмен семейными тайнами и котиrowались семейные акции», – передаются интонации своего рода «хора сплетников»; в их вопросах, намеках, недомолвках, замечаниях, сделанных вскользь, проглядывает замаскированное любопытство, порицание, притворное сочувствие, тайное желание уколоть.

Выдающееся достижение Голсуорси – портреты Форсайтов. Рисуя их немногими, но выразительными чертами, он сумел показать нерасторжимую связь индивидуального и типического. В каждом из Форсайтов наряду с родовыми чертами видно, если употреблять выражение Голсуорси, «неповторимое „я“». Оживленные силой авторского мастерства, сходят со страниц книги Форсайты: закованный в броню собственнической самоуверенности Сомс, с его квадратной челюстью бульдога, надменным видом, вызывающим уважение его клиентов; сухопарый Джемс, снедаемый вечной тревогой за сохранность своих капиталовложений и незыблемость собственнического бытия своей семьи, с его вечными воз-

гласами: «Мне никогда ничего не рассказывают!» и «Я так и знал, чем все это кончится!»; величественный, осанистый Суизин во всем великолепии своих жилетов (особый – на каждый случай!), и даже осторожный накопитель Тимоти, который из-за боязни инфекции стал почти невидимым для остальных Форсайтов и для читателей.

Воспринимая Форсайтов как живых людей, читатели спрашивали автора, что случилось с его героями. Многие читатели утверждали, что именно их семья изображена в «Собственнике», а однажды Голсуорси получил письмо, где говорилось следующее: идя по Кокспер-стрит, автор письма встретил человека, которого тотчас же узнал, но не мог вспомнить, где и когда его видел; напрягая память, он вдруг понял, что это был Сомс Форсайт.

Основная мысль Голсуорси – собственническая философия противоречит всему истинно человеческому – становится особенно ясной, когда он рисует мир природы. Движение и яркость красок отличают ее от мертвенности застывшего существования Форсайтов. «Широкие яркие листья блестели в лучах, танцуя под звуки шарманки»; «Над полем дрожал зной, все кругом было пронизано нежным, еле уловимым жужжанием, словно мгновения радости, в буйном веселье пронесившиеся между землей и небом, шептали что-то друг другу»; «На дорожку неба между рядами деревьев выбежали новые звезды...» Оживают даже неподвижные пни: «Священная рощица оленей, причудливых пней,

фавнами скачущих в летних сумерках вокруг серебристых березок-нимф!»

Но автор запечатлевает и тишину сумерек, и тяжелую неподвижность ненастного дня, улавливая все оттенки «настроений» пейзажа, часто рисуя их в органической связи с душевным состоянием героев.

Если Форсайт – городской житель, как правило, чуждый вольной красоте полей, почему-либо изменяет своей натуре, то вместе с ним в природу вторгается глагол «иметь» или его синонимы. Сомса, выбирающего участок для постройки загородного дома, угнетает тишина луга, но красота открывшегося перед ним вида все же захватывает его: «Против воли что-то ширилось у него в груди. Жить здесь и видеть перед собой этот простор, показывать его знакомым, говорить о нем, владеть им! Щеки его вспыхнули. Тепло, блеск, сияние захватили Сомса так же, как четыре года назад его захватила красота Ирэн».

С женой Сомса Ирэн связана драма в доме собственника. Твердыня форсайтской семьи дает трещину. Сила чувства Ирэн, ее любовь к архитектору Босини вырывает ее из замкнутой сферы, где ей отведена роль прекрасной вещи, обладание которой было венцом собственнических устремлений Сомса.

Показывая перипетии этой драмы, Голсуорси рисует Сомса как мужа-собственника, который считается только со своими чувствами, не желает расставаться с тем, что было

им завоевано, проявляет цепкость бульдога, зная, что за его спиной стоит собственническое общество, что на его стороне закон. Голсуорси смог увидеть в семейной драме социальное ее значение. Вместе с тем в изображении этой драмы, как и в блестящем воплощении форсайтизма в живых образах, чувствуется, что писатель знал форсайтский мир «изнутри». Биографические данные говорят о том, что к этому миру принадлежала и семья, в которой вырос Голсуорси. Многое из того, что изображено в «Собственнике» и более позднем романе, «В петле», пережито и выстрадано им самим. Эти переживания роднят его с выразителем его мыслей в романе – молодым Джолионом, который ушел от семьи во имя «недозволенной», по форсайтским нормам, любви, посвятил себя живописи – компрометирующему, с точки зрения Форсайтов, занятию³. В Форсайтах Голсуорси воплотил черты некоторых членов своей семьи и своих родственников; в частности, его отец – прообраз старого Джолиона.

³ Голсуорси также сошел с предначертанного ему отцом пути, отказавшись от респектабельной карьеры адвоката и избрав предосудительную в глазах буржуазной семьи профессию писателя. Столь же предосудительной, на взгляд семьи, была его любовь к Аде Голсуорси, жене его двоюродного брата, обладавшего, по видимому, чертами Сомса Форсайта. Джону Голсуорси пришлось скрывать отношения с Адой от своего отца вплоть до смерти последнего, затем пройти через бракоразводный процесс, на котором он должен был фигурировать как соответчик, и выждать положенный законом шестимесячный срок. Только после этого – в общей сложности через десять лет – он смог жениться на Аде, которая все время их совместной жизни была его другом и помощником. Голсуорси неоднократно упоминал о том, что именно она вскоре после их знакомства побудила его начать писать.

В предисловии к трилогии «Сага о Форсайтах», первым романом которой стал «Собственник», Голсуорси писал, что образ Ирэн — «воплощение волнующей Красоты, врывающейся в мир собственников», и что главная тема романа — «набег Красоты и посягательства Свободы на мир собственников».

Красоту и Свободу символизируют в романе образы Ирэн и Босини. Автор связывает эти образы с искусством, которое в его глазах является великой моральной силой, призванной изменить собственнический мир, внести в него гармонию и чувство пропорций. Эту мысль, характерную для всего творчества Голсуорси, он развивает позднее и в своих статьях.

Противопоставленный собственникам образ Ирэн, исполненный обаяния Красоты, подчеркивает уродство обезличивающего Форсайтов культа денег, сухой утилитаризм духовно убогих людей. Но Красота, задуманная как отвлеченный символ, не имеющая опоры в самой жизни, не может противостоять форсайтизму. Автор, по существу, и не возлагает на нее эту миссию. В письмах к своему другу и критику Эдуарду Гарнету Голсуорси пояснял, что «Ирэн не действует, она пассивна». Эпитеты в романе, относящиеся к Ирэн, прочно связаны с представлением о ее пассивности, загадочности, непроницаемости. Но, подчеркивая, что она чужда миру Форсайтов, Голсуорси создает впечатление, что она непричастна и к жизни в целом.

Отвлеченность его идеала сказалась и на образе Босини.

Мысль, что свобода – нечто имманентно присущее искусству и художнику, опровергается в самом романе, где показаны реально сложившиеся отношения между художником и собственническим обществом, которое покупает его талант и губит его. Как художественные образы Ирэн и Босини уступают полнокровным образам Форсайтов. Голсуорси и сам это чувствовал. Как он писал сестре, ему пришлось показать Ирэн и Босини «со стороны», только через восприятие других действующих лиц. «Ни тот, ни другая не наделены жизнью в отличие от Форсайтов; но они выполняют свое назначение». По мысли Голсуорси, назначение Босини в том, чтобы показать своей смертью, что «собственность – пустая оболочка». Можно признать, что автор таким путем показывает моральное поражение Форсайтов, но, по существу, Красота и Свобода сдаются без боя, конфликта между ними и собственниками не происходит. Поиски причин этого приводят нас к выводу, что они таятся в противоречивом отношении автора к Форсайтам. Об этих противоречиях свидетельствует в основном образ старого Джолиона.

Дав трезвый и проницательный анализ форсайтизма, выраженного в образах большинства Форсайтов, Голсуорси возвышает над ними старого Джолиона – собственника по своей сущности – за то, что в нем есть и нефорсайтские свойства: сердечная теплота, чувство юмора, умение мыслить отвлеченно и понимать Красоту. Эти истинно человеческие черты старого Джолиона, противоречащие нормам форсай-

тизма, не являются, однако, в изображении автора источником внутренней дисгармонии. Здесь таится зерно развившейся позднее мысли о совместимости подлинно человеческих чувств с бытием собственников, облагороженных, лишенных «крайностей» чувства собственности⁴. Вместе с тем автор именно с этим образом связывает мысль о положительном значении класса Форсайтов, отмечая в старом Джолионе «здравость ума, выдержку и жизнеспособность – все то, что делало его и многих других людей одного с ним класса ядром нации». Отмеченные им качества, необходимые для созидательной работы, Голсуорси находит только в Форсайтах, не видя их в английском народе; с другой стороны, он как будто забывает, что у старого Джолиона эти качества были подчинены целям стяжательства. Та же мысль о «ядре нации» проглядывает и у молодого Джолиона в его иронической лекции о «симптомах форсайтизма». Давая меткое определение этих симптомов, он в то же время гипертрофирует значение Форсайтов, как и автор, не видя в английской

⁴ Именно в этом плане дан образ не названного по имени 80-летнего старика в этюде «Портрет», вошедшем в сборник «Смесь» (1910). В основу портрета, по словам автора, положены черты его отца, другими словами, черты старого Джолиона, которые мы узнаем. Противоположные качества даны здесь в «сбалансированном» виде. «Он пронес через всю жизнь стремление к самому лучшему и в области материальной и в области духовной», – говорит автор о своем герое. Отвращение к авантюризму, осторожность, умеренность, мудрый расчет в финансовых делах, умение наслаждаться красотой жизни – вот что автор определяет как «гармоничное существование». В его глазах именно благодаря этим качествам герой «Портрета» принадлежит к ушедшему в прошлое «золотому веку».

действительности сил, способных им противостоять. Таким образом, сатирическая линия, очень четкая в начале романа, не получает логического развития.

В то же время в романе проступает мысль, свидетельствующая об ощущении автором «духа времени».

Хотя Форсайты не воспринимают гибель Босини как свое поражение и все в форсайтском мире остается неизменным, автор дает понять, что с этой гибелью связана первая трещина в твердыне форсайтского благополучия. Свою мысль он выражает через символ: смерть Босини – удар молнии в семейное дерево Форсайтов, которое уходит корнями в закон собственности. «На взгляд посторонних, оно еще будет цвести, как и прежде, но ствол его уже мертв». Предчувствием угрозы форсайтскому семейному очагу – этой основе основ собственнического бытия – проникнута и нарисованная в первой части книги сцена похорон тети Энн, старшей в роде Форсайтов. Сравнивая клан Форсайтов с деревом в разгар цветения, «почти отталкивающим в своей пышности», Голсуорси уже предчувствует, что дерево это должно засохнуть. Его предчувствие было порождено обстановкой, сложившейся в начале XX века, когда создавался «Собственник»; писатель ощущал, что стабильное существование Форсайтов, принадлежащих XIX веку, отходит в прошлое.

«Собственник» был задуман как самостоятельное произведение. Лишь через 12 лет автор вернулся к Форсайтам и

продолжил эпопею этой семьи⁵.

С выходом «Собственника» Голсуорси прочно занял одно из первых мест в английской литературе своего времени. Правда, реакционная критика, тотчас же почувствовавшая, что в «Собственнике» изображены «вещи как они есть», выразила свое недовольство романом. В частности, автор рецензии в журнале «Спектейтор» сожалел, что Голсуорси нашел такое применение своему таланту, предупреждал, что к книге надо подходить с большой осторожностью, ибо из-за «уродливых мест» она производит «гнетущее впечатление» и это делает ее неприемлемой для широкого читателя.

Иначе встретила та же критика вышедший вслед за «Собственником» роман Голсуорси «Усадьба» (1907). Так, рецензент «Таймс» нашел, что это произведение «хотя и менее сильное, но более приятное, а также более правдивое».

В «Усадьбе» нет той резкости и четкости постановки проблемы, как в «Собственнике». Но автору удается дать образное представление еще об одном слое собственнического общества – земельном дворянстве, также занимающем «место наверху». В образе помещика Хорэса Пендайса нашла

⁵ В эту эпопею, помимо «Собственника», вошли романы «В петле» (1920) и «Сдается внаем» (1921), составляющие вместе с «Собственником» трилогию «Сага о Форсайтах», и «Белая обезьяна» (1924), «Серебряная ложка» (1926), «Лебединая песня» (1928), составляющие трилогию «Современная комедия». В данном издании обе трилогии занимают пять томов. Таким образом, в первых пяти томах Собрания сочинений Голсуорси представлена вся эпопея о Форсайтах, которой принадлежит центральное место в его творчестве.

прекрасное воплощение черта, которую автор определяет как проявление «пендисита» – тупая уверенность в том, что именно дворянство унаследовало от предков и призвано передать потомкам право управлять страной, что для этой цели привилегированные учебные заведения будут вечно поставлять государству все новые кадры, что порядок этот незыблем и вечен. Эти убеждения Пендайса сформулированы в его выразительном «символе веры»: «Верую в отца моего, и в его отца, и в отца его отца, собирателей и хранителей нашего поместья, и верую в самого себя, и в сына моего, и в сына моего сына. И верую, что мы создали страну и сохранили ее такую, как она есть. И верую в закрытые школы и особенно в ту школу, где я учился! И верую в равных мне по общественному положению, и в усадьбу, и в порядок, который есть и пребудет во веки веков. Аминь».

Твердо убежденный в том, что его сословие – оплот государства, Пендайс берет на себя роль блюстителя нравственности по отношению к фермерам-арендаторам, живущим на его земле. Тесный контакт его с преподобным Хасселом Бартером, «за спиной которого стоят века неоспоримой власти церкви», вполне понятен. Основное место в романе занимают события в семейной жизни Хорэса Пендайса: переживания миссис Пендайс, любимой героини автора, не понятой мужем и сыном Джорджем – людьми с более грубой душевной организацией, перипетии любви Джорджа к Элен Белью, которая ушла от мужа, но не получила развода. Здесь сно-

ва ставится вопрос о семье, о жестокости и лицемерии буржуазного закона о браке – вопрос, к которому Голсуорси постоянно возвращается в своем творчестве; ему, в частности, посвящена пьеса «Беглянка» (1912). Но в отличие от «Собственника» семейная драма здесь лишена значительности, так же как и действующие лица ее. По своей жизненной убедительности ни один из образов романа не может сравниться с образом Хорэса Пендайса.

О тех, кто находился за пределами замкнутого круга Пендайсов и Форсайтов, о «другой нации», Голсуорси поднимает вопрос в пьесах «Серебряная коробка» (1906) и «Борьба» (1909), в сборнике рассказов «Комментарий» (1908), в романе «Братство» (1909).

Постановку «Серебряной коробки», своей первой пьесы, Голсуорси охарактеризовал позднее в письме, относящемся к 1925 году, как «вторжение» в английский театр, «продиктованное возмущением против искусственности английских пьес того времени и решительным намерением представить на сцене реальную жизнь». Насколько необходимо было такое «вторжение», можно судить хотя бы по замечанию английского драматурга Г.-А. Джонса, что драматургия в Англии находилась в течение всего XIX века в состоянии интеллектуального паралича. Голсуорси встал на путь Бернарда Шоу, предпринявшего в конце XIX века поход за то, чтобы сломить в английском театре дурную традицию искусственных пьес и вынести на сцену острые проблемы действитель-

ности. Свои мысли о состоянии английского театра Голсуорси высказал еще в 1903 году в статье «После просмотра пьесы». Он отмечал в ней, что современные драматурги, обладающие «практическим здравым смыслом», ставят из года в год пьесы, отвечающие определенным стандартам. Вместо того чтобы показывать реальную жизнь, они исходят из готовой схемы. Все действия персонажей, их речи, исполненные риторики и сентиментальности, продиктованы занимаемым ими «положением в обществе». Конец пьесы неизбежно сводится к торжеству добродетели.

«Серебряная коробка» Голсуорси явилась полной противоположностью таким пьесам; здесь нет хитросплетенной интриги, которой подчинены действия персонажей, нет «счастливого конца». На сцене – сама жизнь, с теми ее проблемами, которые встали в Англии в первые годы XX века: тяжелый экономический кризис, массовая безработица. В обнаженной форме показан реальный жизненный конфликт, подлинное соотношение сил в обществе. На одном полюсе его – семья члена парламента Бартвика, на другом – семья безработного Джонса. «Тут человек камни готов ворочать до кровавого пота... а ему не дают. И это справедливость, и это свобода, и все прочее» – так в возгласе Джонса выливается горечь, накопившаяся в его душе за то время, что он обивал пороги, выпрашивая работу, как милостыню. Случай сводит Джонса, доведенного безработицей до отчаяния, с сыном Бартвика – Джеком, «безработным богачом», живу-

щим в свое удовольствие. Оба они в пьяном виде совершают аналогичные проступки, но Джонс фигурирует на суде как подсудимый, Джек Бартвик благодаря стараниям отца и искусного адвоката – лишь как свидетель. «Видимость и сущность» – так можно сформулировать мысль, лежащую в основе пьесы. Торжественно провозглашенное равенство богатых и бедных перед законом – по существу, лишь фикция. Критерий для тех, кто творит буржуазное правосудие, – имущественное положение подсудимого; материальная обеспеченность – сертификат благонадежности. За «принципиальностью» мистера Бартвика, буржуазного либерала, почтенного члена парламента, скрывается отсутствие принципов. Вместо них страх быть скомпрометированным из-за поведения сына. Маска высокой добродетели миссис Бартвик, стоящей на страже морали, скрывает душевную жесткость по отношению к нижестоящим, безграничную снисходительность к порочным наклонностям сына.

Теме двух полюсов социальной жизни посвящен сборник рассказов Голсуорси «Комментарий». Мир горя и нищеты противопоставлен миру сытых и самодовольных. Автор рисует беспросветно тяжелый труд людей, объятых вечным страхом потерять работу, и отчаяние тех, кто ее уже потерял («Комментарий», «Страх», «Пропавший человек»), трагедию стариков, которые, проработав всю жизнь, находятся на грани голодной смерти («Старость»). Большинство бедняков, фигурирующих в рассказах этого сборника (как и сборни-

ка «Смесь», вышедшего два года спустя), отличает безропотный стоицизм. Характерное выражение его автор дает в рассказе «Надежда» в образе хромого уличного торговца, который продает за гроши птичий корм. Во всякую погоду на людном перекрестке стоит «обтрепанная статуя, олицетворение человеческого свойства – „Мужество без Надежды!“.

Мысль о том, как позорно для Англии наличие вопиющей нужды на ее земле, выражена в проникнутом горькой иронией рассказе „Ребенок“. С маленьким мальчиком из бедной семьи, бледным заморышем, лишенным детства, вдруг произошла необычная вещь: он засмеялся. Раздался жесткий звук, „как будто ударились друг о друга две дощечки“. В смехе ребенка автору слышится смех миллионов таких же полуголодных детей. „Это смеялось Будущее нации, самой богатой, самой свободной и гордой из всех когда-либо живших на земле...“

Рассказы „Дом молчания“ и „Порядок“ посвящены теме, занимающей Голсуорси на протяжении всего его творчества. Он показывает здесь антигуманность пенитенциарной системы в буржуазном обществе, рассчитанной на то, чтобы духовно подавить заключенных, и утверждает, что это общество в силу своего несправедливого устройства несет ответственность за тех, кто совершает преступления. Та же идея выражена в рассказе „Заключенный“ из сборника „Смесь“ и в вышедшей в одном году с ним пьесе „Правосудие“. Голсуорси считает также, что общество ответственно за униже-

ние женщин, которых гонит на улицу нужда; тема проституции, поставленная в одном из рассказов сборника „Комментарий“, также является „сквозной“ в его творчестве.

„Сытые“ представлены в рассказе „Мода“ в образе дамы в экипаже, приученной думать, что цель ее жизни – заботиться о своем чистом, хорошо упитанном теле; в рассказе „Комфорт“ – в образах тех, кто старается всячески оградить себя от неприятных впечатлений, связанных с существованием „низов“.

В подтексте рассказов сборника заключена мысль автора, что спасти положение могут реформы, но он видит препятствия к осуществлению своих скромных надежд и дает портреты тех, кто хочет, чтобы существующий порядок был неизблем. Это финансист в рассказе „Деньги“, который сопротивляется созданию пенсионного фонда путем увеличения подоходного налога⁶; это правительственный чиновник, который старается предохранить государственный корабль от всяких реформ, чтобы курс его оставался неизменным („Власть“); это член парламента, который относится с симпатией ко всем социальным законопроектам, но считает ме-

⁶ «Деньги» своей художественной силой выделяются в сборнике рассказов, многие из которых производят впечатление несколько упрощенных зарисовок. Герой его – старик, не названный по имени, – напоминает Джемса Форсайта. Но в то время как образ Джемса в «Собственнике» дан в ироническом плане, здесь автор рисует своего совершенно обыденного героя в почти трагическом плане, создавая представление о страшном, опустошительном воздействии на его душу чувства собственности.

нее рискованным тормозить их („он чувствовал, что, не будь его, страна слишком быстро двигалась бы по пути прогресса“) („Осторожный человек“).

Именно в реформах в рамках существующей системы видит Голсуорси выход из тяжелого положения народа; об этом свидетельствуют также его статьи и высказывания. Подобно своим положительным героям, он, обладая, по выражению английских критиков, „социальной совестью“, смотрит на людей из народа глазами человека, который глубоко им сочувствует, но отделен от них довольно значительной дистанцией. Ему представляется, что народу необходима благожелательная опека состоятельных людей, проникшихся пониманием его положения. Предоставленный себе народ, доведенный правящими классами до состояния деградации, может стать опасным. Эта мысль выражена в рассказе „Демос“, отличающемся от большинства рассказов сборника, где изображены вызывающие сочувствие автора одинокие бедняки. По мнению Голсуорси, люди из „низов“, объединившись, станут грубой, озверелой массой, склонной к безрассудным насильственным действиям.

Но уже в 1909 году ставится пьеса Голсуорси „Борьба“, рисующая организованные действия бастующих рабочих (подобная пьеса, вероятно, впервые была поставлена английским театром!), не сопровождающиеся грубостью и насилием. Создание пьесы с таким необычным для Голсуорси сюжетом объясняется тем, что он не старался закрывать глаза

на факты, не отвечавшие его взглядам, но пристально всматривался в явления английской действительности, которую отличали в то время напряженность экономической и политической обстановки, рост стачечного движения. Голсуорси увидел основной для своего времени конфликт между трудом и капиталом и почувствовал весь драматизм его.

Правда, взгляды Голсуорси помешали ему глубоко понять суть описываемых им событий и неизбежность их. Вот почему он как бы ставит на одну доску председателя правления компании Джона Энтони, отстаивающего собственные интересы, и рабочего Робертса, руководителя стачечного комитета, который борется за то, чтобы рабочие были избавлены от нужды и страданий; писатель рисует конфликт между ними как состязание двух упрямцев: ни тот ни другой не хотят сдавать свои позиции, более „широко“ посмотреть на вещи, хотя такое упрямство и идет в ущерб делу. Когда остальные члены правления, боясь снижения прибылей, за спиной у Энтони и Робертса заключают компромиссное соглашение с профсоюзом, оказывается, что они делают это на условиях, первоначально предложенных профсоюзом, и, следовательно, вся длительная, ожесточенная борьба была напрасной, как напрасна, по мысли автора, и классовая борьба в целом.

В романе „Братство“, вышедшем, как и „Борьба“, в 1909 году, на „верхнем полюсе“ изображены представители интеллигенции. „У каждого из нас есть своя тень там, на тех улицах“, – говорит профессор Стоун, подразумевая кварта-

лы бедняков. В утопической книге о всемирном братстве, над которой он работает, современное общество, названное „кастовой пагодой“, изображено как отошедшее в прошлое; люди этого общества „жили в различных слоях, отделенные друг от друга, класс от класса... Среди трупов бесчисленных жертв тучнели и багровели полчища мясников, физически окрепшие от запаха крови“. Стоун провидит время, когда рухнут перегородки „кастовой пагоды“ и на земле воцарится всемирное братство. Единственный путь к этому – любовь; восставший пролетариат – опасная сила. Профессор Стоун, изображенный маньяком (хотя Голсуорси и высказывает через его посредство некоторые свои мысли), витает в обособленном мире. Но перед остальными героями романа реально встает проблема кастовых перегородок; о ней заставляют их думать „тени“, с которыми они сталкиваются волей случая, – метельщик улиц Хьюз, его жена, старый продавец газет, девушка-натурщица. Голсуорси выдвигает в центр романа отношение к этой проблеме поэта Хилери Даллисона, видя в нем, как он писал впоследствии, слабость, характерную для современной писателю интеллигенции.

Хилери Даллисон способен увидеть порочные черты своего класса, осознать бедственное положение народа, но, считая, что избавления можно ожидать лишь „сверху“, он видит препятствия к этому в том, что среди десятков тысяч людей, принадлежащих к привилегированным классам, только несколько тысяч обладают „социальной совестью“, „...а

многие ли даже среди нас, — говорит он, — готовы... поступать так, как подсказывает нам наша совесть... боюсь, что мы слишком резко разделены на классы. Человек всегда поступал и поступает как член своего класса". Влечение к „маленькой натурщице“ приводит Хилери к тому, что он готов переступить кастовые перегородки, но внезапно он осознает, что мир, к которому она принадлежит, слишком чужд ему. В романе уловлены сдвиги в сознании английской интеллигенции, ее тревога при мысли о пропасти, отделяющей ее от народа. По словам Джозефа Конрада, „Братство“ — голос „совести эпохи, услышанный Голсуорси". К этому мнению близок отзыв М. Горького о романе. Рекомендуя книгу для издания на русском языке, он писал: „Мне кажется, что к ней нужно дать небольшое предисловие на тему о развитии самокритики в английском обществе..."⁷

Неудивительно, что буржуазная пресса обрушилась на „Братство". Характерен следующий отрывок из рецензии на этот роман в журнале „Сатердей ревью оф литератюр": „Мистер Голсуорси выпустил в форме романа очень опасную и революционную книгу. „Братство" — не более, не менее, как ожесточенная атака на нашу социальную систему. Роман рассчитан на то, чтобы унижить правящий класс и внушить публике предубежденный взгляд на многие важные проблемы. Автор нарушил все каноны искусства и сделал свой роман средством политической пропаганды".

⁷ Горький А. М. Собр. соч.: В 30 т. М.: Гослитиздат, 1955. Т. 29. С. 399.

Из приведенных здесь примеров рецензий буржуазной критики на произведения Голсуорси видно, как сильно было давление реакции на английскую литературную жизнь. Писателя, возлагавшего надежды на реформы, на постепенную эволюцию, обвиняли в ниспровержении устоев, называли социалистом. С другой стороны, эта атмосфера дает нам представление о смелости, которая необходима была Голсуорси, чтобы „идти против течения“.

Многочисленные высказывания Голсуорси о русском романе – в его глазах, „великой живительной струе в мире современной литературы“ – позволяют сделать вывод, что в данной обстановке для писателя, который стремился высоко держать знамя реализма, русская литература служила опорой. Выше уже говорилось о глубоком духовном воздействии Тургенева на Голсуорси в начале его творческого пути. На зрелых произведениях английского писателя отразилось его творческое общение с Толстым.

Еще в 1902 году, после прочтения „Анны Карениной“, Голсуорси писал переводчице романа Констанции Гарнет, что в его глазах искусство Толстого нечто совершенно новое, ни с чем не сравнимое; особенно поражала его глубина проникновения Толстого во внутренний мир человека. В статье об Эдуарде Гарнете (пропагандировавшем в Англии русскую литературу) Голсуорси, отмечая необычайную жизненную силу Толстого и никем не превзойденное стремление к правде, называл его величайшим из всех русских писателей. Тол-

стой, чья роль великого обличителя буржуазной цивилизации явилась для всей Европы, по выражению Э. Гарнета, знанием духовного беспокойства, охватившего современный мир, помог английскому писателю глубже осознать порочность буржуазного общества. Голсуорси видел в английской действительности и осмысливал в своем творчестве проблемы, которые поднимал и Толстой: пропасть между „верхами“ и „низами“, паразитизм и фарисейство привилегированных, бедственное положение народа, жестокость, лицемерие внутренней и внешней политики государства, неравенство богатых и бедных перед законом, лицепрятие суда, виновность общества в преступлениях его членов, ложные основы буржуазной семьи. Близость к Толстому особенно чувствуется в таких произведениях Голсуорси, как „Остров фарисеев“, „Собственник“, „Братство“, „Серебряная коробка“. Однако в отличие от Толстого, который в своей разрушительной критике самых основ буржуазного общества выражал протест народа, Голсуорси, ставя те же проблемы, трактует их более узко; здесь сказались исторические условия развития английского общества, влияние на писателя реформистской идеологии. Иное, чем у Толстого, отношение к народу, неверие в его духовные возможности видно, в частности, в статье Голсуорси „Неопределенные мысли об искусстве“, в которой он возражает против критерия народности, выдвинутого Толстым в трактате „Что такое искусство?“.

Названная статья Голсуорси, включенная, как и ряд дру-

гих, написанных им до войны статей об искусстве и литературе, в сборник „Гостиница успокоения“ (1912), примечательна еще в одном смысле. Одновременно с рядом верных положений здесь выражена мысль о том, что только искусство, с его чувством пропорций, может привести к гармонии и равновесию в отношениях между людьми. Эта мысль перекликается с другими высказываниями писателя, судя по которым он считает отличительной чертой миропорядка столкновение противоположных принципов – света и тени, жизни и смерти и т. д. Тот же процесс, по его мнению, происходит в природе, в жизни человека, в сфере его морали. В результате конфликта противоположных начал устанавливается равновесие. В подобных рассуждениях сквозит мысль, что именно таким путем, а не посредством классовой борьбы будет достигнута гармония в социальной жизни. Сосредоточивая внимание главным образом на моральном аспекте социальных противоречий, обвиняя людей высшей касты в гипертрофии чувства собственности, эгоизме, черствости, фарисействе, Голсуорси считает, что гармония будет установлена, если они освободятся от этих свойств и обретут чувство пропорций в моральной сфере. Такой ход мысли противоречит логике его произведений, из которых явствует, что все эти черты собственников, как и дисгармония в собственническом обществе, неразрывно связаны с самими его основами.

Стремление Голсуорси отделить моральные свойства лю-

дей от обусловившей их, как он сам же показывает, социальной сущности, истолковать в абстрактном плане очень конкретные факты, отраженные в его же произведениях, противоречивость подхода ко многим явлениям – все это говорит о том, что ему нелегко было „идти против течения“, что творчество для него было далеко не спокойным процессом. Голсуорси пытался преодолеть в себе мироощущение, связывавшее его с его классом, и именно победам в этой борьбе, хотя бы и неполным, он как художник обязан своими достижениями.

О внутренней борьбе, сопряженной с его творческой работой, Голсуорси упоминал не раз. Он писал Гарнету, что в процессе работы над основными своими романами у него всегда было ощущение, что в нем сидят два человека, причем один из них, олицетворяющий творческое начало, атакует „того, другого“, в ком воплощены черты, связывающие его с кастой. В свете этого письма становится понятным высказывание Голсуорси в предисловии к „Братству“, вышедшему в Собрании сочинений в 1930 году. Давая понять, что в некоторых образах он воплощает свои собственные черты, Голсуорси писал: „Рассекая Хилери... Сомса Форсайта... их создатель чувствует, как нож глубоко вонзается в него самого“. Пытаясь разобраться в этом неожиданном – в отношении образа Сомса – признании, проследить нити родства автора с Сомсом, отвлекаясь при этом от всего грубособственнического в образе последнего, мы можем предположить, что „со-

мсовское начало“ в писателе — это некая внутренняя скованность, ощущение невозможности совсем отделиться от „раковины“, образованной традициями давно устоявшейся жизни класса, — при всем критическом отношении к ним; это привычка смотреть на тех, кто вне раковины, как на людей иного мира, — при всем сочувствии к ним и сознании тяжести их положения.

В своем письме к Гарнету Голсуорси выражал мысль, что критическая линия его книг была действенной именно потому, что он по опыту хорошо знал свойства, которые критиковал в своих персонажах. Нельзя, однако, не заметить, что „тот, другой“ человек в Голсуорси порой оказывается сильнее своего критика.

Это проявляется в романе „Патриций“ (1911), в котором выведены крупные землевладельцы-аристократы. Прочитав роман в рукописи, Гарнет почувствовал отступление от той линии в творчестве Голсуорси, которая была начата „Островом фарисеев“. В своих письмах к другу, который был дорог ему как писатель, он всячески стремился дать ему это понять. Основное отличие „Патриция“ от предыдущих романов Гарнет справедливо находил в том, что здесь в изображении аристократии нет той определенности и четкости, с которой Голсуорси ранее изображал представителей других классов.

Голсуорси отвечал Гарнету, что обличение аристократии не являлось его целью; это был бы слишком легкий путь.

Став на него, он свел бы на нет основную линию книги. Его цель – показать, как воздействует на духовный облик героев романа их привилегированное положение, привычка повелевать, как это ведет к стандартизации, бесплодной сухости их внутреннего мира. Он стремился также показать, по его словам, столкновение кастового духа с поэтической стороной жизни, с любовью. Далее Голсуорси пояснял, что его творчество вступает в новую фазу, в нем ослабевает критическая линия, элемент сатиры и в то же время растет стремление к красоте, и высказывал предположение, что это, может быть, признак возраста.

Герой романа „Патриций“ лорд Милтоун и его сестра Барбара каждый по-своему, сталкиваясь с людьми иной среды, узнают „поэтическую сторону жизни, любовь“. Но каждый из них, пройдя через мучительные переживания, все же остается верным традициям своего класса, причем Милтоун жертвует любовью ради политической карьеры.

По окончании „Патриция“ Голсуорси записал в дневнике, что это последний из серии романов, в которых дан критический обзор различных слоев общества (буржуазии – в „Собственнике“, земельного дворянства – в „Усадьбе“, интеллигенции – в „Братстве“, аристократии – в „Патриции“). В конце одного из писем Голсуорси к Гарнету по поводу „Патриция“ стояла фраза: „Во всяком случае, роман заканчивает то, что я начал „Островом фарисеев“. Аминь“.

Такое „финальное“ слово заставляет предположить, что

писатель отказывается от своей роли критика общества. Следующий его роман, „Темный цветок“ (1913), не опровергает это предположение. Писатель вместе с героем романа скульптором Марком Леннаном уходит в сферу ничем не стесненных чувств. Любовь – „темный цветок страсти“ – рисуется как всепоглощающая сила, перед которой человек бессилен. Здесь происходит расщепление психологической и социальной тем, обычно слитых у Голсуорси, и нельзя сказать, чтобы художник от этого выиграл.

Но Голсуорси еще только один раз обращается к роману, близкому по типу к „Темному цветку“ („Сильнее смерти“, 1917).

Писатель его склада не мог искусственно изолировать себя от жизни с ее многообразными вопросами, они тревожили его, и среди них был один из самых острых – политика его страны в колониях. В 1914 году выходит пьеса Голсуорси „Толпа“, в которой осуждаются британские „цивилизаторы“, развязывающие войну против маленького народа за отказ подчиниться им. Голсуорси и здесь склонен рассматривать вопрос в плане отвлеченной морали: поясняя действия своего героя Стивена Мора, заместителя министра, настойчиво выступающего против политики правительства, он подчеркивает, что дело не столько в защите малых стран, сколько в том, что человек должен упорно отстаивать свои идеалы. Но объективное положение вещей правдиво освещено в пьесе, особенно хорошо показан образ мышления колониза-

торов, прикрывающих жестокость своей грабительской политики фразами о необходимости „наказания“ „дикого, не ведающего законов“ народа.

Острая проблема поднята и в романе „Фриленды“ (1915), по своему духу примыкающем к серии романов, начатой „Островом фарисеев“. Это знакомая нам по „Усадьбе“ проблема отношений между фермерами-арендаторами и помещиками, считающими себя вправе быть моральными судьями зависящих от них людей, но здесь эти отношения принимают форму конфликта, разрешающегося стачкой арендаторов и сельскохозяйственных рабочих в знак протеста против навязанной им моральной опеки. Писатель, относившийся отрицательно к решительным массовым действиям, разумеется, осуждает стачку, но, давая почувствовать атмосферу морального гнета, созданную помещиками Маллорингами, он тем самым вскрывает причины, вызвавшие эту стачку.

В романе слышатся отголоски идей Толстого, в частности высказанная в связи с трагической историей фермера Триста мысль, что общество само толкает людей на преступления, а потом судит их несправедливым судом. В манере, напоминающей Толстого, в резко контрастном противопоставлении даются параллельно картины жизни помещика Маллоринга и фермера Триста, живущего на его земле. В романе отражена обычная для Голсуорси тревога в связи с упадком сельского хозяйства Англии, наступлением индустриального города на деревню. Он высказывает мысль о губительном влия-

нении техники на жизнь людей, о необходимости „возврата к земле“. Джону Фриленду, крупному чиновнику, и Стенли Фриленду, промышленнику, воплощающим дух касты, противопоставлен их младший брат Тодд – своего рода „толсто-вец“, который вместе с членами своей семьи ведет „опро-щенную“ жизнь, сам обрабатывает землю.

Роман „Фриленды“ вышел в свет уже во время Первой мировой войны.

Война вызвала у Голсуорси самые различные мысли и чувства, которые нашли выражение в его статьях („Первые мысли о войне“, „Искусство и война“, „Литература и война“, „Воля к миру“ и др.). Представления Голсуорси о том, что Англия сражается за свободу, демократию и справедливость (здесь сказалось влияние на него британской пропаганды), перемежаются с взглядами на войну как на чудовищное безумие, внезапно охватившее мир, с попытками рассматривать войну в свете своих абстрактных воззрений по поводу „борьбы противоположных принципов“, – он объявляет ее взрывом диких инстинктов, давно не находивших выхода, взрывом, после которого, возможно, очистится атмосфера. Писателя часто тревожат опасения, что война углубит социальные противоречия, вызовет острые конфликты, возможно, гражданскую войну. Надо всем преобладает, однако, ненависть к бессмысленной жестокости войны, влекущей за собой неисчислимые страдания и жертвы, ненависть к шовинистическим настроениям, разжигаемым в стране.

Этими чувствами продиктованы и художественные произведения, написанные Голсуорси в связи с войной.

Война вторгается в жизнь людей, разрушает узы семьи, все человеческие отношения, требует напрасных жертв – такой предстает она в рассказах „Присяжный“, „Рассказ учителя“, „Распря“. В рассказе „Хандра“ прекрасно передано душевное состояние солдата, который накануне выписки из госпиталя лежит на траве, думая о том, что завтра ему снова надо вернуться на фронт, видеть искалеченные тела, крыс, снующих между трупами, слышать рев орудий; чудовищную противоестественность этого подчеркивает картина безмятежного летнего дня, шелест листьев ивы, стрекотание цикад. О том, как страна вознаграждает тех, кто сражался за нее, говорит рассказ „Человек с выдержкой“. В фантастическом рассказе „Казнь“ автор выражает мысль об ответственности своего поколения за гибель молодежи. Осуждение озлобленного, фанатического национализма звучит в рассказах „Все имеет свою хорошую сторону“, „А собака подохла!“, „Поражение“, „Митинг в защиту мира“. Шовинизм осуждается и в романе „Путь святого“ (1919), который интересен также своей мыслью о несовместимости догматов христианской религии с живой жизнью.

В военные годы Голсуорси написал ряд произведений, которые говорят о развитии его сатирического дара. К ним принадлежит книга „Горящее копьё“ (1919), высмеивающая тех, кто создает атмосферу военной истерии, и тех, кто явля-

ется ее жертвой, этюды „Гротески“ (1919), где дается сатирическое изображение жизни Англии во время войны, ее политики, культуры и быта. Очень остроумны „Экстравагантные этюды“ (1915) – серия сатирических портретов.

В Великой Октябрьской революции Голсуорси увидел подтверждение тех дурных предчувствий, которые у него были во время войны. Писатель, всю жизнь высказывавшийся против ломки общественной системы, которую он критиковал, не мог не ощутить тревогу, наблюдая ту огромную ломку, тот переворот в истории человечества, которые знаменовал собой Октябрь. Опасением, что революция может перекинуться в Англию, во многом определено его умонастроение, вызвана мысль о необходимости добиваться классового мира в стране.

Но Голсуорси не перестает чувствовать себя критиком общества, он видит, что те явления, которые он осуждал на протяжении своего творчества, приобрели гораздо более острую форму в послевоенной Англии. Сознвая еще более ясно, чем прежде, ответственность писателя перед обществом, он выступает с воззваниями и статьями (такими, например, как „Международная мысль“), главная цель которых – предостережение против угрозы новой войны, призыв к объединению сил интеллигенции всех стран в борьбе против производства новых средств разрушения. В своей положительной программе писатель нередко высказывает наивные суждения, но главное в этих статьях – его тревога за судьбы

человечества.

В статьях, посвященных литературе, Голсуорси с новой силой обосновывает теоретически свои позиции писателя-реалиста. В атмосфере углубившегося после войны духовного кризиса, распространения декадентской литературы, с ее антигуманистическими тенденциями, он твердо отстаивает взгляды на искусство как средство общественного воздействия, считая, что долг художника – влиять на этику своего времени. Признавая необходимость эксперимента, содействующего развитию искусства, Голсуорси считает, что на долгую жизнь может претендовать лишь эксперимент, который с необходимостью вытекает из самой темы, произведения же тех, кто экспериментирует только во имя новизны и эффекта, умрут очень скоро. В противовес декадентам, которые отказывались от изображения характеров, Голсуорси считал, что писатель именно путем создания характеров и их окружения должен вносить свой вклад в социальные и этические ценности своего времени. В статье „Создание характера в литературе“ он, говоря о бессмертных образах мировой литературы, ссылается, в частности, на историю создания Тургеневым образа Базарова и значение этого образа.

Мысль о принципе подчинения выразительных средств содержанию заключена в статье „О выражении мыслей“, в которой писатель выступает против формалистических упражнений в области языка, служащих самоцелью. Кстати сказать, сам Голсуорси – один из лучших стилистов Англии,

обладавший тонким чувством языка, искусно использовавший всю его гибкость, и его творчество – пример того, как плодотворны могут быть новаторские опыты в этой сфере, если они служат цели наибольшей выразительности.

Отстаивая принципы реализма в теоретических статьях, Голсуорси следует им в своем творчестве. Об этом прежде всего говорят его довольно многочисленные рассказы, вышедшие после войны. Они противостоят аморфным декадентским новеллам, с символическим „вторым планом“, и, с другой стороны, чрезвычайно распространенному типу английской и американской новеллы, с острым сюжетом, обязательным напряжением кульминационных пунктов и эффектной концовкой. Таким образом, Голсуорси осуществлял принцип, которому он настойчиво призывал следовать молодых писателей: быть верным себе, не гнаться за модой, не подчинять свой талант требованиям книжного рынка. В рассказах Голсуорси нет ничего необычайного; в них дана повседневная жизнь, но образы, которым подчинен сюжет, побуждают задуматься над тем, что представляет собой эта повседневная жизнь, часто страшная именно своей повседневностью, каковы нравственные качества людей, подвергающиеся испытанию в тех или иных жизненных ситуациях.

В 1918 году вышел сборник Голсуорси „Пять рассказов“. Одному из этих рассказов суждено было стать знаменательной вехой на его творческом пути. Это „Последнее лето Форсайта“, где снова перед нами предстает старый Джолион, уда-

лившийся от дел, „очищенный“ от всего собственнического; именно потому гармоничность его образа не кажется искусственной. Автор рисует его молчаливую любовь к Ирэн в последний для него „месяц лета в полях и в его сердце“. Поэтическая проза рассказа подчинена единому ритму, проникнута настроением шекспировских строк, взятых эпиграфом: „И жизни летней слишком срок недолог“. Старый Джолион, возлюбивший красоту больше разума, умирает сидя под дубом, в буйный, яркий день.

Рассказ „Последнее лето Форсайта“ можно сопоставить по контрасту с другим рассказом сборника, „Цвет яблони“, герой которого, связанный прочными узами с традициями своего класса, проходит мимо настоящей любви и осознает это только на склоне лет.

Иного рода ассоциацию „Последнее лето Форсайта“ вызывает с рассказом того же сборника „Стоик“. Если, возвышая старого Джолиона, автор дает в его образе противоположные качества в „сбалансированном“ виде, то герой „Стоика“ поднимается на щит именно как стопроцентный собственник, воплощение прозорливости, выдержки, смелости в деловых операциях – качеств дельцов „старой школы“, отличающих его от буржуа новой формации.

„Последнее лето Форсайта“ явилось для его автора стимулом к тому, чтобы продолжить семейную хронику Форсайтов, с которыми он расстался двенадцать лет тому назад. „Думаю, что то воскресенье в июле 1916 года в Уингстоне, –

писал он впоследствии, — когда я внезапно почувствовал, что могу продолжить историю своих Форсайтов на протяжении еще двух томов, со связующим звеном между ними, было самым счастливым днем в моей творческой жизни“. Этими двумя томами явились романы „В петле“ и „Сдается внаем“. „Связующим звеном“ между ними стала интерлюдия „Пробуждение“.

Голсуорси возвращается к Форсайтам после того, как совершилась величайшая в истории революция. Тревожное состояние духа писателя отражается на его видении жизни послевоенной Англии; ее положение, как он писал позже, представляется ему „расплывчатым и безысходным“, и это заставляет его нередко обращаться мыслью к прошлым, более устойчивым в его глазах временам.

В романе „В петле“ мы снова погружаемся в мир Форсайтов и прежде всего утверждаемся в мысли, что соприкосновение с ними автора, в области ли романа или рассказа, производит на него как бы магическое действие. Он вновь постигает секрет жизненности характеров, с которыми не могут сравниться характеры других его произведений.

Действие романа „В петле“ происходит в 1899–1901 годах, и здесь по-прежнему царит собственнический комплекс Форсайтов во всех его проявлениях; глагол „иметь“ применяется ко всему, что они считают своим, от колоний до жен. Эта философия получает исчерпывающее воплощение всего в нескольких фразах Сомса. Он мысленно сближает по-

ведение Ирэн, которая, уйдя из его дома двенадцать лет назад, отказывается вернуться к нему, и позицию буров, отказавшихся признать суверенитет Англии. „Буры отказываются признать суверенитет“, – читает он заголовок газеты. – Суверенитет! Вот как она... Всегда отказывалась. Суверенитет! А я все же обладаю им по праву».

Сомс по-прежнему предстает как истый собственник, но здесь автор подчеркивает трагизм переживаний Сомса, тщетно пытающегося вернуть Ирэн.

Писатель изображает Англию на рубеже XX века, но в романе порой чувствуются настроения, владеющие автором после войны. В изображении Голсуорси грядущие события как бы отбрасывают сюда свою тень. Это проявляется в сцене столкновения Сомса с участниками уличного карнавально-го шествия по случаю взятия у буров Мейфкинга. Он предвидит, что эта веселая толпа – «живое отрицание аристократии и форсайтизма» – может когда-нибудь выйти на улицы в ином настроении. «Казалось, он внезапно увидел, как кто-то вырезает договор на право спокойного владения собственностью из законно принадлежащих ему документов; или словно ему показали чудовище, которое подкрадывается, вылезает из будущего... Словно он вдруг обнаружил, что девять десятых населения Англии – чужестранцы. А если это так, тогда можно ждать чего угодно!» В этих мыслях Сомса слышатся отголоски опасений автора; в то же время здесь великолепно дана психология английских собственников, кото-

рые считают, что именно они, а не девять десятых населения олицетворяют всю страну.

Осознание автором рубежа, переломного момента в истории современной ему Англии, предчувствие социальных бурь особенно чувствуется в сцене похорон королевы Виктории. В этой сцене проявляется двойственное отношение автора к тому, что он изображает. С одной стороны, остро характеризуется уходящий «золотой век» Форсайтов, эпоха, сделавшая своим богом Маммону и так канонизировавшая фарисейство, что «для того, чтобы быть респектабельным, достаточно было казаться им», с другой стороны, в размышлениях Сомса о том, что век уходит, что «со всем этим тред-юнионизмом и с этими лейбористами в парламенте... никогда уже не будет так спокойно, как при доброй старой Викки!...», также можно узнать интонации автора.

В романе «Сдается внаем» предстает уже послевоенная Англия, потрясенная войной, забастовками, экономическим кризисом. Психология собственника в этом смутном мире – вот что с первой же главы показывает нам автор. Сохранение своего богатства, ограждение его по мере возможности от возросших налогов на капитал – главная забота Сомса. Он склонен утешать себя тем, что цены на землю и картины хоть и колеблются, но все же растут и, следовательно, есть за что держаться в этом мире, где столько нереально-го. Моментами в нем просыпаются чувства, свойственные собственникам «золотого века» английской буржуазии: «Во

всем неустройство, люди спешат, суетятся, но здесь – Лондон на Темзе, вокруг Британская империя, а дальше – край земли... И все, что было в Сомсе бульдожьего, с минуту отражалось во взгляде его серых глаз». В такие моменты мы как будто видим за спиной Сомса фигуру мистера Подснепа, который презирает все неанглийское, считает столицу Англии столицей мира, английскую конституцию – даром провидения процветающей стране.

И в то же время именно через Сомса автор выражает мысль, что класс Форсайтов обречен историей. Дощечка с надписью: «Сдается внаем», водруженная на доме Джолиона в Робин-Хилле после его смерти, приобретает характер символа в мыслях Сомса, только что похоронившего Тимоти – последнего из старых Форсайтов: «Сдается внаем форсайтский век, форсайтский образ жизни, когда человек был неоспоримым и бесконтрольным владельцем своей души, своих доходов и своей жены». Этот четкий вывод не могут затемнить дальнейшие рассуждения, которыми утешает себя Сомс, – рассуждения о вечно присущем человеческой натуре собственническом инстинкте и, следовательно, вечности собственнического порядка. Эти рассуждения перекликаются с аналогичной мыслью автора в предисловии к «Саге о Форсайтах». Но в том же предисловии автор говорит, что он забальзамировал класс крупной буржуазии (которому, возможно, суждено перейти в небытие), чтобы его могли увидеть посетители музея Литературы. Так сложно протека-

ет внутренняя борьба писателя – критика общества с «тем, другим человеком». В романе «Сдается внаем» и во второй трилогии о Форсайтах, «Современная комедия», Голсуорси передает дух послевоенной буржуазной Англии так же верно, как дух позднего викторианства в первых двух романах трилогии. «Гротески» послужили своего рода прелюдией ко всем этим произведениям.

В «Белой обезьяне» Голсуорси критикует главным образом декадентское искусство, бесплодное формалистическое экспериментирование в области живописи, скульптуры, музыки, высмеивает романы, похожие на психоаналитические трактаты. В центре «Серебряной ложки» – критика буржуазного парламентаризма, который Голсуорси разоблачал уже в ранних своих рассказах.

Писатель схватывает характерные черты складывающихся в новой обстановке типов. Перед нами проходят представители «золотой молодежи» – нигилисты и циники, поэты, пишущие «ни о чем», художники, деформирующие мир, музыканты, создающие сонаты «со слегка хирургическим оттенком».

Явления, которые Голсуорси улавливает в жизни, он в некоторых случаях выражает в виде символов. В то время как у декадентов символы – это «знаки», выражение чрезвычайно субъективных и потому трудноуловимых представлений автора, у Голсуорси символы – действенное средство истолкования действительности, воплощения ее сущности:

они исполнены силы обобщения. Таким обобщающим символом является белая обезьяна на картине китайского художника, которая тоскует и сердится, не находя в апельсине того, что, по ее представлению, там скрыто. В этом образе автор воплотил черты представителей молодого поколения форсайтской Англии, которые, не видя уже смысла в накоплении капитала, не видят смысла и в самом своем существовании; они так же, как и белая обезьяна, съедают плоды жизни и разбрасывают кожуру, жадно стремясь удовлетворить свои желания, но не зная сами, чего хотят.

Эти черты присущи и дочери Сомса Флер, у которой форсайтская цепкость и упорство, унаследованные от отца, сочетаются с душевной пустотой, с сознанием, что цепляться-то, собственно, не за что.

Однако о духовном банкротстве молодежи форсайтской Англии говорят и образы положительных героев Голсуорси. Это Майкл Монт с его филантропическими начинаниями, планами спасения империи путем «фоггартизма» – реакционного проекта о переселении детей английских рабочих в колонии в целях борьбы с безработицей; это Джон, сын Ирэн и Джолиона, который в «Лебединой песне» во время всеобщей забастовки 1926 года вместе с другими представителями форсайтской Англии встает на защиту своего класса, принимая участие в штрейкбрехерской работе.

Вместе с Майклом Монтом писатель ищет путей разрешения острых проблем, назревших в стране, его устами он за-

дает постоянный вопрос: «Так что же у нас неладно?» – и так же, как и Майкл, не находит ответа.

В этой обстановке особое значение приобретает для автора образ Сомса. По сведениям американского литературоведа У.-Л. Фелпса, один из читателей Голсуорси после прочтения «Серебряной ложки» спрашивал его в письме, являются ли изменения в характере Сомса результатом определенного авторского плана. Голсуорси ответил, что у него не было определенного плана в этом отношении и он не видит особых изменений в характере Сомса в «Серебряной ложке» сравнительно с романами «Сдается внаем» и «Белая обезьяна», но что вообще Сомс смягчается с годами, главным образом благодаря своей любви к Флер.

Благодаря любви к дочери Сомс действительно смягчается. Эгоист, всегда считавшийся только со своими желаниями, он теперь готов ради нее на жертвы. В этой любви – источник новой его трагедии: Флер не любит его так, как ему бы хотелось. Влияет на его характер и возраст, ослабевают стремление к стяжательству. Но, помимо этих естественных изменений, в Сомсе происходят изменения, не соответствующие логике его образа, в нем появляются такие черты, как склонность к философским раздумьям. Красота, которая раньше не давалась Сомсу, теперь становится ему доступной. Мы чувствуем духовный контакт автора с Сомсом. Он часто говорит его устами, и нам теперь не приходится догадываться, что же подразумевал Голсуорси в предисловии

к «Братству», когда он говорил, что чувствует в себе черты Сомса. Правда, так бывает не всегда, в образе Сомса переплетено несколько линий, и перед нами моментами возникает прежний Сомс, но к концу «Современной комедии» все реже. Образ Сомса во многом служит опорой автору в этом смутном для него мире. Создается впечатление, что протягиваются нити между Сомсом и старым Джолионом при всем различии их образов. Сомс также в глазах автора становится представителем «золотого века».

Но как отрицательные, так и положительные образы «Современной комедии» говорят о том, что форсайтский порядок обречен. В большинстве случаев автор, как художник-реалист, не изменяет своему служению правде. Так, несмотря на то, что, судя по статьям и высказываниям Голсуорси, он придерживался «теории фоггартизма» до конца своей жизни, в «Серебряной ложке» он в соответствии с правдой жизни показал ее несостоятельность.

«Лебединой песней», где показана гибель Сомса, автор заканчивает свою эпопею о Форсайтах. В 1930 году он, однако, издает сборник рассказов «На Форсайтской Бирже», где описаны различные случаи из жизни Форсайтов разных поколений. Среди них, в частности, рассказ «Сомс и Англия», действие которого происходит во время Первой мировой войны. В нем автор устами Сомса осуждает войну, выражает свое отвращение к шовинизму.

Творчество Голсуорси завершает трилогия «Последняя

глава» (романы «Девушка ждет» – 1931, «Пустыня в цвету» – 1932 и «Через реку» – 1933). Он сам рассматривал ее как эпилог своего творчества. По-прежнему озабоченный тяжелым положением страны (в последнем романе трилогии находит отражение мировой экономический кризис), писатель пытается найти опору в новых героях – членах старинной дворянской семьи Черрелей, хранителей, в его глазах, лучших традиций Англии. Но сама идея искать путь спасения Англии в ее прошлом обречена на неудачу. Это особенно ясно в романе «Девушка ждет», где видно, насколько косны, мертвы, реакционны эти «лучшие традиции». В отличие от эпопеи о Форсайтах здесь семейная тема часто дается в отрыве от социальной, хотя многие явления в жизни Англии начала 20-х годов получили отражение в трилогии. Узкому миру клана Черрелей автор часто придает больше значения, чем он того заслуживает. Наиболее удачен роман «Пустыня в цвету», где показан конфликт между истинной человечностью и властью представлений о престиже Британской империи. Последний роман, «Через реку», Голсуорси заканчивал тяжелобольным; книга вышла после его смерти.

В эпилоге, завершающем творческий путь Голсуорси, не нашли проявления самые сильные стороны писателя, но в целом этот большой и сложный путь отмечен славными победами, и, оглядываясь на него, мы можем сказать, что творчество Джона Голсуорси принадлежит к лучшим страницам истории английской литературы XX века.

Д. Жантиева

Предисловие автора

Название «Сага о Форсайтах» предназначалось в свое время для той ее части, которая известна теперь как «Собственник», и то, что я дал его всей хронике семьи Форсайтов, свидетельствует о чисто форсайтской цепкости, присущей всем нам. Против слова «Сага» можно возражать на том основании, что в нем заключено понятие героизма, а героического на этих страницах мало. Но оно употреблено с подобающей случаю иронией; а кроме того, эта длинная повесть, хоть в ней и говорится о веке процветания и о людях в сюртуках и турнюрах, не лишена страстной борьбы враждебных друг другу сил. Несмотря на гигантский рост и кровожадность, которыми наделяет предание героев древних саг, они по своим собственническим инстинктам были очень сродни Форсайтам и так же беззащитны против набегов красоты и страсти, как Суизин, Сомс и даже молодой Джолион. И хотя в нашем представлении эти герои никогда не бывших времен сильно выделяются среди своего окружения – вещь неприемлемая для Форсайта времен Виктории⁸, – мы можем с уверенностью предположить, что родовой инстинкт и тогда был главной движущей силой и что семья, домашний очаг и собственность играли такую же роль, какую играют сейчас,

⁸ *времен Виктории...* – Период правления королевы Виктории (1837–1901) явился временем наивысшего могущества и расцвета Великобритании.

несмотря на все разговоры, с помощью которых их стараются в последнее время свести на нет.

Столько людей в своих письмах ко мне утверждали, будто прототипами Форсайтов послужили именно их семьи, что я почти готов поверить в типичность этой разновидности человеческого рода. Нравы меняются, жизнь идет вперед, и «Дом Тимоти на Бэйсуотер-Род» в наше время попросту немыслим во всех отношениях; мы не увидим больше такого дома, не увидим, возможно, и людей подобных Джемсу или старому Джолиону. А между тем отчеты страховых обществ и речи судей изо дня в день убеждают нас в том, что наш земной рай – и теперь еще богатый заповедник, куда украдкой совершают набеги Красота и Страсть, чтобы среди бела дня похитить у нас наше спокойствие. Как собака лает на духовой оркестр, так же все, что есть в человеческой природе от Сомса, неизменно и тревожно восстает против угрозы распада, нависшей над владениями собственничества.

«Пусть мертвое прошлое хоронит своих мертвецов» – это изречение было бы убедительнее, если бы прошлое когда-нибудь умирало. Живучесть прошлого – одно из тех трагикомических благ, которые отрицает всякий новый век, когда он выходит на арену и с безграничной самонадеянностью претендует на полную новизну. А в сущности никакой век не бывает совсем новым. В человеческой природе, как бы ни менялось ее обличье, есть и всегда будет очень много от Форсайта, а он, в конце концов, еще далеко не худшее из жи-

ВОТНЫХ.

Оглядываясь на эпоху Виктории, расцвет, упадок и гибель которой в некотором роде представлены в «Саге о Форсайтах», мы видим, что попали из огня да в полымя. Нелегко было бы доказать, что в 1913 году положение Англии было лучше, чем в 1886 году, когда Форсайты собрались в доме старого Джюлиона на празднование помолвки Джун и Филипа Босини. А в 1920 году, когда весь клан снова собрался, чтобы благословить брак Флер с Майклом Монтом, положение Англии стало чересчур расплывчатым и безысходным, точно так же, как в 80-х годах оно было чересчур застывшим и прочным. Будь эта хроника научным исследованием о смене эпох, мы, вероятно, остановились бы на таких факторах, как изобретение велосипеда, автомобиля и самолета; появление дешевой прессы; упадок деревни и рост городов; рождение кино. Дело в том, что люди совершенно неспособны управлять своими изобретениями; в лучшем случае они лишь приспособляются к новым условиям, которые эти изобретения вызывают к жизни.

Но эта длинная повесть не является научным исследованием какого-то определенного периода; скорее, она представляет собой изображение того хаоса, который вносит в жизнь человека Красота.

Образ Ирэн, который, как, вероятно, заметил читатель, дан исключительно через восприятие других персонажей, есть воплощение волнующей Красоты, врывающейся в мир

собственников.

Было замечено, что читатели, по мере того как они бредут вперед по соленым водам Саги, все больше проникаются жалостью к Сомсу и воображают, будто это идет вразрез с замыслом автора. Отнюдь нет. Автор и сам жалеет Сомса, трагедия которого – очень простая, но непоправимая трагедия человека, не внушающего любви и притом недостаточно толстокожего для того, чтобы это обстоятельство не дошло до его сознания. Даже Флер не любит Сомса так, как он, по его мнению, того заслуживает. Но, жалея Сомса, читатели, очевидно, склонны проникнуться неприязненным чувством к Ирэн. В конце концов, рассуждают они, это был не такой уж плохой человек, он не виноват, ей следовало простить его и так далее. И они, становясь пристрастными, упускают из виду простую истину, лежащую в основе этой истории, а именно что если в браке физическое влечение у одной из сторон отсутствует, то ни жалость, ни рассудок, ни чувство долга не преобладают отвращения, заложенного в человеке самой природой. Плохо это или хорошо – не имеет значения; но это так. И когда Ирэн кажется жестокой и черствой – как в Булонском лесу или в галерее Гаупенор, – она лишь проявляет житейскую мудрость: она знает, что малейшая уступка влечет за собой невозможную, немыслимо унижительную капитуляцию.

Говоря о последней части Саги, можно поставить в упрек автору, что Ирэн и Джолион – эти представители бунта про-

тив собственности – посягают как на некую собственность на своего сына Джона. Но, право же, это было бы уже чересчур критическим подходом к повести в том виде, в каком она дана читателю. Ни один отец, ни одна мать не позволили бы своему сыну жениться на Флер, не рассказав ему всех фактов; и решение Джона определяют именно факты, а не доводы родителей. К тому же Джолион приводит свои доводы не ради себя, а ради Ирэн, а довод самой Ирэн сводится к одному: «Не думай обо мне, думай о себе!» Если Джон, узнав факты, понимает чувства своей матери, это, по совести, едва ли можно считать доказательством того положения, что и она, в сущности, принадлежит к породе Форсайтов.

Однако, хотя главной темой «Саги о Форсайтах» являются набеги Красоты и посягательства Свободы на мир собственников, автор ее не может отвести от себя обвинение в том, что он в некотором роде забальзамировал класс крупной буржуазии. Как в Древнем Египте мумии окружали предметами, необходимыми умершим в загробной жизни, так я попытался наделить образы теток Энн, Джули и Эстер, Тимоти и Суизина, старого Джолиона и Джемса и их сыновей тем, что обеспечит им хоть малую толику жизни «будущего века», что явится каплей бальзама в стремительном потоке всерастворяющего «прогресса».

Если крупной буржуазии, так же как и другим классам, суждено перейти в небытие, пусть она останется законсервированной на этих страницах, пусть лежит под стеклом, где на

нее могут поглазеть люди, забредшие в огромный и неустроенный музей Литературы. Там она сохраняется в собственном соку, название которому – Чувство Собственности.

Джон Голсуорси

1922 г.

«Сага о Форсайтах»

Собственник

*...Ответ мне будет:
Рабы ведь эти наши.*

Шекспир. «Венецианский купец»

Часть первая

I

Прием у старого Джолиона

Тем, кто удостоивался приглашения на семейные торжества Форсайтов, являлось очаровательное и поучительное зрелище: представленная во всем блеске семья, принадлежащая к верхушке английской буржуазии. Если же кто-нибудь из этих счастливцев обладал даром психологического анализа (талантом, который не имеет денежной ценности и поэтому не пользуется вниманием со стороны Форсайтов), глазам его открывалась картина не только восхитительная сама по себе, но и разъясняющая одну из мудреных загадок че-

ловечества. Иными словами, сборище этой семьи, – ни одна ветвь которой не чувствовала расположения к другой, между любыми тремя членами которой не было ничего заслуживающего названия симпатии, – помогало внимательному наблюдателю уловить признаки той загадочной, несокрушимой живучести, которая превращает семью в такое мощное звено общественной жизни, в такое точное воспроизведение целого общества в миниатюре. Этому наблюдателю представлялась возможность прозреть туманные пути развития общества, уяснить себе кое-что о патриархальном быте, о передвижениях первобытных орд, о величии и падении народов. Он уподоблялся тому, кто, следя за ростом молодого деревца, живучесть и обособленное положение которого помогли ему уцелеть там, где погибли сотни других растений, менее стойких, менее сильных и выносливых, в один прекрасный день видит его в самый разгар цветения, покрытым густой сочной листвой и почти отталкивающим в своей пышности.

Пятнадцатого июня 1886 года случайный наблюдатель, попавший около четырех часов дня в дом старого Джолиона Форсайта на Стэнхоп-Гейт, мог увидеть лучшую пору жизни Форсайтов – пору их цветения.

Прием был устроен в честь помолвки мисс Джун Форсайт – внучки старого Джолиона – с мистером Филипом Босини. Вся семья собралась здесь, щеголяя белыми перчатками, светло-желтыми жилетами, перьями и платьями; приехала даже тетя Энн, которая редко оставляла теперь уголок зеле-

ной гостинной своего брата Тимоти, где она проводила целые дни за книгой и вязаньем, под сенью крашеного ковыля в голубой вазе, окруженная портретами трех поколений Форсайтов. Даже тетя Энн была здесь: негнувшийся стан и спокойное достоинство ее старческого лица воплощали в себе непоколебимый дух собственничества, свойственный всей семье.

Когда Форсайт праздновал помолвку, свадьбу или рождение, все Форсайты бывали в сборе; когда Форсайт умирал... но до сих пор с Форсайтами этого не случалось, — они не умирали. Смерть противоречила их принципам, и они принимали против нее все меры предосторожности, инстинктивной предосторожности, как делают очень жизнеспособные люди, восстающие против посягательств на их собственность.

Форсайты, смешавшиеся в этот день с толпой остальных гостей, казались более, чем обычно, парадными и блистательно респектабельными, в их самоуверенности было что-то настороженно-пытливое, они как будто нарядились для того, чтобы бросить кому-то вызов. Обычная презрительная гримаса, застывшая на лице Сомса Форсайта, отражалась и на их лицах: они были начеку.

Наступательная позиция, занятая ими бессознательно, стала некой психологической вехой в истории семьи и сделала прием у старого Джолиона прелюдией к их драме.

Форсайты протестовали против чего-то, и не каждый в отдельности, а всей семьей; этот протест выражался подчеркнутой безукоризненностью туалетов, избытком родственно-

го радушия, преувеличением роли семьи и... презрительной гримасой. Опасность, неминуемо обнажающую основные черты любого общества, группы или индивидуума, – вот что чуяли Форсайты; предчувствие опасности заставило их навести лоск на свои доспехи. Впервые за все время у семьи появилось инстинктивное чувство непосредственной близости чего-то необычного и ненадежного.

Около рояля стоял крупный, осанистый человек, два жилета облекали его широкую грудь – два жилета с рубиновой булавкой вместо одного атласного с булавкой бриллиантовой, что приличествовало менее торжественным случаям; его квадратное бритое лицо цвета пергамента и белесые глаза сияли величием поверх атласного галстука. Это был Суизин Форсайт. У окна, где можно было захватить побольше свежего воздуха, стоял близнец Суизина, Джемс, – «толстый и тощий», прозвал их старый Джолион. Как и Суизин, Джемс был более шести футов роста, но очень худой, словно ему с самого рождения суждено было искупать своей худобой чрезмерную дородность брата. Джемс стоял, как всегда, сгорбившись, и хмуро поглядывал по сторонам; в его серых глазах застыла какая-то тревожная мысль, от которой он время от времени отвлекался и обводил окружающих быстрым, беглым взглядом; запавшие щеки с двумя параллельными складками и выдававшуюся вперед чисто выбритую длинную верхнюю губу обрамляли густые пушистые бакенбарды. В руках он вертел фарфоровую вазу. Немного дальше его

единственный сын Сомс, бледный, гладко выбритый, с темными редеющими волосами, слушал какую-то даму в коричневом платье, выпятив подбородок, склонив голову набок и скорчив упомянутую выше презрительную гримасу, словно он фыркал на яйцо, зная наверное, что ему не переварить его. Позади Сомса его двоюродный брат, рослый Джордж, сын пятого по счету Форсайта – Роджера, с сардонической усмешкой на мясистом лице обдумывал очередную остроту.

В сегодняшнем событии таилось что-то такое, что задевало их всех.

В ряд, тесно одна к другой, сидели три леди: тети Энн, Эстер (обе – старые девы) и Джули (уменьшительное от Джулии), которая, будучи уже не первой молодости, настолько забылась, что вышла замуж за Септимуса Смолла – человека слабого здоровья. Она пережила его на много лет. Теперь Джули жила вместе со старшей и младшей сестрами на Бэйсуотер-Род в доме Тимоти – своего шестого по счету и самого младшего брата. Все три леди держали в руках по вееру, и каждая из них цветной отделкой на платье, ярким пером или брошью отметила торжественность дня.

Посередине комнаты под люстрой, как и подобало хозяину, стоял глава семьи, сам старый Джолион. Чудесная седая шевелюра, выпуклый лоб, маленькие темно-серые глаза и длинные седые усы, свисавшие намного ниже массивного подбородка, делали этого восьмидесятилетнего старика похожим на патриарха, который, несмотря на худобу щек и за-

павшие виски, казалось, обладал секретом вечной юности. Он держался очень прямо, а его пронизательные спокойные глаза еще не утратили своего ясного блеска. Все это говорило о том, что старый Джолион – выше людской мелкоты с ее сомнениями и раздорами. Долгие годы он жил своим умом, тем самым закрепив за собой право на превосходство. Ему бы в голову не пришло, что надо выставлять напоказ свои сомнения и открыто бросать кому-то вызов.

Между ним и четверьмя остальными братьями, присутствовавшими здесь, – Джемсом, Суизином, Николасом и Роджером, – была и большая разница и большое сходство. В свою очередь каждый из четырех братьев сильно отличался от остальных, и все-таки они были очень похожи друг на друга.

За разнообразием черт и выражений этих пяти лиц можно было подметить твердость подбородка как основу, поверх которой обозначались лишь несущественные отличия, как печать рода, слишком древнюю, чтобы можно было проследить ее возникновение, слишком знакомую и привычную, чтобы вдаваться в споры о ней, – истинную пробу и залог благосостояния семьи.

Младшее поколение: рослый, массивный Джордж, бледный, подвижной Арчибальд, молодой Николас, с его мягкой, неназойливой настойчивостью, напыщенный, фатоватый Юстас – все были отмечены этой печатью, может быть менее явной, но столь же бесспорной и свидетельствующей

о том, что было неискоренимо в самом духе семьи.

Несколько раз на всех этих лицах, столь различных и столь схожих между собой, появлялось в тот день выражение недоверия, и объектом этого недоверия, несомненно, был человек, ради знакомства с которым они собрались здесь.

Всем им было известно, что Филип Босини – молодой человек без всякого состояния, но девушки из семьи Форсайтов и раньше обручались с такими людьми и даже выходили за них замуж. Значит, не это обстоятельство служило главным поводом для недоверия Форсайтов. Они не смогли бы объяснить, откуда взялась эта неприязнь, причины которой терялись где-то в тумане семейных пересудов. Во всяком случае, рассказывалась такая история, будто бы он явился с официальным визитом к тетям Энн, Джули и Эстер в мягкой серой шляпе, к тому же далеко не новой и какой-то бесформенной и пыльной. «Так странно, милочка, такая экстравагантность!» Тетя Эстер (очень близорукая), проходя через маленький неосвещенный холл, хотела согнать шляпу со стула, приняв ее за бродячую кошку, – Томми заводил себе таких сомнительных друзей! Она была сильно озадачена, когда «кошка» не двинулась с места.

Подобно художнику, который старается отыскать какую-нибудь выразительную мелочь, воплощающую в себе все самое характерное в ситуации, месте или человеке, так и Форсайты – бессознательные художники – чисто интуитивно ухватились за эту шляпу. Она-то и была для них той вы-

разительной деталью, мелочью, в которой коренился смысл всего происходящего. Каждый из них задавал себе вопрос: «Ну, а вот, например, я – пошел бы я с таким визитом да в такой шляпе?» И каждый отвечал: «Нет», а некоторые, наделенные бóльшим воображением, добавляли: «Мне бы это и в голову не пришло!»

Джордж, услышав про шляпу, усмехнулся. Совершенно ясно, что Босини хотел пошутить. Джордж был любителем таких шуток.

– Заносчивый юноша, – сказал он, – настоящий пират!

И это *mot*⁹ «пират» передавалось из уст в уста и наконец окончательно закрепилось за Босини.

После случая со шляпой все три тетки накинулись на Джун:

– Как ты позволяешь ему такие выходки, милочка!

Джун не замедлила ответить тем властным тоном, каким всегда говорило это крохотное существо – воплощение воли:

– Ну и что ж такого? Филу совершенно безразлично, что носить!

Никто не поверил столь дикому ответу. Безразлично, что носить? Нет, нет!

Но что же представлял собой этот молодой человек, который сделал столь удачный шаг, обручившись с Джун – наследницей старого Джолиона? Он был архитектор, но ведь это недостаточная причина, чтобы носить такую шляпу. Сре-

⁹ Удачное словцо (*фр.*).

ди Форсайтов архитекторов не было, но кто-то из них знал двух архитекторов, которые никогда бы не явились с официальным визитом в такой шляпе в самый разгар лондонского сезона. Подозрительно, да, очень подозрительно!

Джун, конечно, ничего особенного в этом не видела, хотя, несмотря на свои неполные девятнадцать лет, она слыла очень придирчивой особой. Разве не она сказала миссис Сомс, которая так прекрасно одевается, что перья вульгарны? И миссис Сомс действительно перестала носить перья. Вот что могла натворить маленькая Джун своей бесцеремонностью.

Однако ни опасения, ни скептицизм, ни самое откровенное недоверие не помешали Форсайтам собраться у старого Джолиона. Приемы на Стэнхоп-Гейт стали большой редкостью; за последние двенадцать лет их не устраивали – да, ни одного приема с тех пор, как умерла старая миссис Джолион.

Никогда еще на Стэнхоп-Гейт не было такого полного сборища. Каким-то таинственным образом сплотившись, несмотря на все свое различие, Форсайты вооружились против общей опасности. Словно стадо, увидевшее на лугу собаку, они стояли голова в голову, плечо к плечу, готовые кинуться и затоптать чужака насмерть. Они пришли сюда также и затем, чтобы разузнать, какие надо готовить подарки. Вопрос о свадебных подарках разрешался обычно так: «Что ты собираешься дарить? Николас дарит ложки». Но ведь от жениха тоже многое зависело. Если жених одет опрятно, даже щеголевато, и по виду состоятельный, ему нужно дарить хо-

рошие вещи, ибо он на это рассчитывает. И в конце концов каждый дарил то, что следовало; список подарков устанавливался всей семьей примерно так же, как устанавливается курс на бирже, а детали разрабатывались на Бэйсуотер-Род, в просторном, выходившем окнами в парк кирпичном особняке Тимоти, где жили тети Энн, Джули и Эстер.

Беспокойство Форсайтов вполне объяснялось уже одним упоминанием о шляпе. Какой нелепостью, какой ошибкой было бы для любой семьи, уделяющей столько внимания внешности (что вечно будет служить отличительной чертой могучего класса буржуазии), испытывать в этом случае что-либо, кроме беспокойства!

Виновник всего этого беспокойства стоял у дальней двери и разговаривал с Джун. Его кудрявые волосы были взъерошены – не оттого ли, что все вокруг казалось ему странным? К тому же он словно подсмеивался про себя над чем-то.

Джордж сказал потихоньку своему брату Юстасу:

– Он еще даст отсюда тягу, этот лихой пират!

«Странный молодой человек», как впоследствии назвала Босини миссис Смолл, был среднего роста, крепкого сложения, со смугло-бледным лицом, усами пепельного цвета и резко обозначенными скулами. Покатый лоб, выступающий шишками, напоминал те лбы, что видишь в зоологическом саду в клетках со львами. Его карие глаза принимали порой рассеянное, отсутствующее выражение. Кучер старого Джолиона, возивший как-то Джун и Босини в театр, выразился

о нем в разговоре с лакеем так:

– Я что-то не разберусь в нем. Здорово смахивает на полудикого леопарда.

Время от времени кто-нибудь из Форсайтов подходил поближе, описывал около Босини круг и внимательно оглядывал его. Джун, эта «копна волос плюс характер», как кто-то сказал про нее, эта крошка с бесстрашным взглядом синих глаз, твердым подбородком, ярким румянцем и золотисто-рыжими волосами, слишком пышными для такого узенького личика и хрупкой фигурки, стояла перед своим женихом, охраняя его от этого праздного любопытства.

Высокая, прекрасно сложенная женщина, которую кто-то из Форсайтов сравнил однажды с языческой богиней, смотрела на эту пару, еле заметно улыбаясь.

Ее руки в серых лайковых перчатках лежали одна на другой, она склонила голову немного набок, и мужчины, стоявшие поблизости, не могли оторвать глаз от этого спокойно-очаровательного лица. Ее тело чуть покачивалось, и казалось, что достаточно движения воздуха, чтобы поколебать его равновесие. В ее щеках чувствовалось тепло, хотя румянца на них не было; большие темные глаза мягко светились. Но мужчины смотрели на ее губы, в которых таился вопрос и ответ, на ее губы с еле заметной улыбкой; они были нежные, чувственные и мягкие; казалось, что от них исходит тепло и благоухание, как исходит тепло и благоухание от цветка.

Молодая пара, находившаяся под таким наблюдением, не

замечала этой безмолвной богини. Архитектор, первым обратив на нее внимание, спросил, кто она.

И Джун подвела своего жениха к женщине с прекрасной фигурой.

– Ирэн – мой самый большой друг, – сказала она, – извольте и вы подружиться!

Выслушав приказание молоденькой хозяйки, они улыбнулись, и в эту минуту Сомс Форсайт безмолвно появился позади прекрасно сложенной женщины, которая была его женой, и сказал:

– Познакомь и меня!

Он редко оставлял Ирэн одну в обществе и, даже когда светские обязанности разъединяли их, следил за ней глазами, в которых сквозила странная настороженность и тоска.

У окна отец Сомса, Джемс, все еще разглядывал марку на фарфоровой вазе.

– Удивляюсь, как Джолион разрешил эту помолвку, – обратился он к тете Энн. – Говорят, что свадьба отложена бог знает на сколько. У этого Босини (он сделал ударение на первом слове) ничего нет за душой. Когда Уинифрид выходила за Дарти, я оговорил каждый пенни – и хорошо сделал, а то бы они остались ни с чем!

Тетя Энн взглянула на него из глубины бархатного кресла. На лбу у нее были уложены седые букли – букли, которые, не меняясь десятилетиями, убили у членов семьи всякое ощущение времени. Тетя Энн промолчала, она берегла

свой старческий голос и говорила редко, но Джемсу, совесть у которого была неспокойна, ее взгляд сказал больше всяких слов.

– Да, – сказал он, – у Ирэн не было своих средств, но что я мог поделаться? Сомсу не терпелось; он так увивался около нее, что даже похудел.

Серdito поставив вазу на рояль, он перевел взгляд на группу у дверей.

– Впрочем, я думаю, – неожиданно добавил он, – что это к лучшему.

Тетя Энн не попросила разъяснить это странное заявление. Она поняла мысль брата. Если у Ирэн нет своих средств, значит, она не наделает ошибок; потому что ходили слухи... ходили слухи, будто она просит отдельную комнату, но Сомс, конечно, не...

Джемс прервал ее размышления.

– А где же Тимоти? – спросил он. – Разве он не приехал?

Сквозь сжатые губы тети Энн прокралась нежная улыбка.

– Нет, Тимоти решил не ездить; сейчас свирепствует дифтерит, а он так подвержен инфекции.

Джемс ответил:

– Да, он себя бережет. Я вот не имею возможности так беречься.

И трудно сказать, чего было больше в этих словах – восхищения, зависти или презрения.

Тимоти и в самом деле показывался редко. Самый млад-

ший в семье, издатель по профессии, он несколько лет назад, когда дела шли как нельзя лучше, почуял возможность застоя, который, правда, еще не наступил, но, по всеобщему мнению, был неминуем, и, продав свою долю в издательстве, выпускавшем преимущественно книги религиозного содержания, поместил весьма солидный капитал в трехпроцентные консоли. Этим поступком он сразу же поставил себя в обособленное положение, так как ни один Форсайт еще не довольствовался меньшим, чем четыре процента; и эта обособленность медленно, но верно расшатала дух человека, и так уже наделенного чрезмерной осторожностью. Тимоти стал почти мифическим существом – чем-то вроде символа обеспеченного дохода, без которого немислима форсайтская вселенная. Он не решился на такой неблагоразумный поступок, как женитьба, и ни при каких обстоятельствах не захотел обзаводиться детьми.

Джемс снова заговорил, постукивая пальцем по фарфоровой вазе:

– Не настоящий Вустер¹⁰. Джолион, наверно, рассказывал тебе про этого молодого человека. Насколько мне известно, у него нет ни дела, ни доходов, ни сколько-нибудь серьезных связей; но я ведь ничего не знаю – мне никогда ничего не рассказывают.

Тетя Энн покачала головой. По ее старческому лицу с ор-

¹⁰ *Вустер* – город в Англии, известный с XVIII в. своими изделиями из фарфора.

линым носом и квадратным подбородком пробежала дрожь; она стиснула свои худые паучьи лапки и переплела пальцы, как бы незаметно набираясь силы воли.

Старшая из всех Форсайтов, тетя Энн занимала в семье не совсем обычное положение. Беспринципные эгоисты – впрочем, не в большей степени, чем их ближние, – Форсайты пасовали перед неподкупной тетей Энн, а когда приходилось поступать уж очень беспринципно, им не оставалось ничего другого, как стараться избегать встреч с ней!

Заложив одна за другую свои длинные худые ноги, Джемс, все еще стоявший у окна, снова заговорил:

– Джолион, конечно, сделает по-своему. У него нет детей... – И запнулся, вспомнив о существовании сына Джолиона, молодого Джолиона, отца Джун, который натворил таких дел в прошлом и погубил себя, бросив жену и ребенка ради какой-то гувернантки. – Впрочем, – поторопился добавить Джемс, – пусть делает, как знает, я думаю, он может себе разрешить это. А сколько он даст за ней? Наверно, тысячу в год, ведь у него больше нет наследников.

Он протянул руку щеголеватому, чисто выбритому человеку с почти голым черепом, длинным кривым носом, полными губами и холодным взглядом серых глаз, смотревших из-под прямых бровей.

– А, Ник, – пробормотал он, – как поживаешь?

Николас Форсайт, подвижной, как птица, и похожий на развитого не по летам школьника (совершенно законным

путем он нажил солидный капитал, будучи директором нескольких компаний), вложил в холодную ладонь Джемса кончики своих еще более холодных пальцев и быстро отдернул их.

– Скверно, – с надутым видом сказал он, – последнюю неделю чувствую себя очень скверно; не сплю по ночам. Доктор никак не разберет, в чем дело. Неглупый малый – иначе я не стал бы с ним возиться, – но, кроме счетов, я от него ничего не вижу.

– Доктора! – с раздражением сказал Джемс. – У меня в доме перебывали все, какие только есть в Лондоне. А проку от них? Наговорят вам с три короба, и только. Вот, например, Суизин. Помогли они ему? Полюбуйтесь, он стал еще толще – настоящая туша. Помогли они ему сбавить вес? Посмотрите на него!

Суизин Форсайт, огромный, широкоплечий, подошел к ним горделивой походкой, выставив вперед высокую, как у зобастого голубя, грудь во всем великолепии ярких жилетов.

– Э-э... здравствуйте, – проговорил он тоном денди, – здравствуйте!

Каждый из братьев смотрел на двух других с неприязнью, зная по опыту, что те постараются преуменьшить его недомогания.

– Мы только что говорили про тебя, – сказал Джемс, – ты совсем не худеешь.

Суизин напряженно прислушивался к его словам, вытара-

щив бесцветные круглые глаза.

– Не худею? У меня прекрасный вес, – сказал он, наклонясь немного вперед, – не то что вы – щепки!

Но, вспомнив, что в таком положении его грудь кажется не столь широкой, Суизин откинулся назад и замер в неподвижности, ибо он ничто так не ценил, как внушительную внешность.

Тетя Энн переводила свои старческие глаза с одного на другого. Взгляд ее был и снисходителен и строг. В свою очередь и братья смотрели на Энн. Она сильно сдала за последнее время. Поразительная женщина! Восемьдесят седьмой год пошел, и еще проживет, пожалуй, лет десять, а ведь никогда не отличалась крепким здоровьем. Близнецам Суизину и Джемсу – всего-навсего по семьдесят пять. Николас – просто младенец – семьдесят или около того. Все здоровы, и выводы из этого напрашивались самые утешительные. Из всех видов собственности здоровье, конечно, интересовало их больше всего.

– Я чувствую себя неплохо, – продолжал Джемс, – только нервы никуда не годятся. Малейший пустяк выводит меня из равновесия. Придется съездить в Бат¹¹.

– Бат! – сказал Николас. – Я испробовал Хэрроу-Гейт. Ничего хорошего. Мне необходим морской воздух. Лучше всего Ярмут. Там я по крайней мере сплю.

– У меня печень пошаливает, – не спеша прервал его Су-

¹¹ Бат, Хэрроу-Гейт, Ярмут – города-курорты в Англии.

изин. — Ужасные боли вот тут, — и он положил руку на правый бок.

— Надо побольше двигаться, — пробормотал Джемс, не отрывая глаз от фарфоровой вазы. И поспешно добавил: — У меня там тоже побаливает.

Суизин покраснел и стал похож на индюка.

— Больше двигаться! — сказал он. — Я и так много двигаюсь: никогда не пользуюсь лифтом в клубе.

— Ну, я не знаю, — заторопился Джемс. — Я вообще ничего не знаю: мне никогда ничего не рассказывают.

Суизин посмотрел на него в упор и спросил:

— А что ты принимаешь против этих болей?

Джемс оживился.

— Я, — начал он, — принимаю такую микстуру...

— Как поживаете, дедушка?

И Джун с протянутой рукой остановилась перед Джемсом, решительно глядя на него снизу вверх. Оживление моментально исчезло с лица Джемса.

— Ну а ты как? — сказал он, хмуро уставившись на нее. — Уезжаешь завтра в Уэлс, хочешь навестить теток своего жениха? Там сейчас дожди. Это не настоящий Вустер, — он постучал пальцем по вазе. — А вот сервиз, который я подарил твоей матери к свадьбе, был настоящий.

Джун по очереди поздоровалась с двоюродными дедушками и подошла к тете Энн. На лице старой леди появилось умиленное выражение; она поцеловала девушку в щеку

с трепетной нежностью.

– Значит, ты уезжаешь на целый месяц, дорогая!

Джун отошла, и тетя Энн долго смотрела вслед ее стройной маленькой фигурке. Круглые, стального цвета глаза старой леди, которые уже заволакивались пеленой, как глаза птиц, с грустью следили за Джун, смешавшейся с суетливой толпой, – гости уже собирались уходить; а кончики ее пальцев сжимались все сильнее и сильнее, помогая ей набраться силы воли перед неизбежным уходом из этого мира.

«Да, – думала тетя Энн, – все так ласковы с ней; так много народу пришло ее поздравить. Она должна быть очень счастлива».

В толпе у двери – хорошо одетой толпе, состоявшей из семей докторов и адвокатов, биржевых дельцов и представителей всех бесчисленных профессий, достойных крупной буржуазии, – Форсайтов было не больше двадцати процентов, но тете Энн все казались Форсайтами – да и разница между теми и другими была невелика, – она всюду видела свою собственную плоть и кровь. Эта семья была ее миром, а другого мира она не знала; никогда, вероятно, не знала. Их маленькие тайны, их болезни, помолвки и свадьбы, то, как у них шли дела, как они наживали деньги, – все было ее собственностью, ее усладой, ее жизнью; вне этой жизни простиралась неясная, смутная мгла фактов и лиц, не заслуживающих особого внимания. Все это придется покинуть, когда настанет ее черед умирать, – все, что давало ей сознание

собственной значимости, сокровенное чувство собственной значимости, без которого никто из нас не может жить, — и за все это она цеплялась с тоской, с жадностью, растущей день ото дня. Пусть жизнь ускользает от нее, это она сохранит до самого конца.

Тетя Энн вспомнила отца Джун, молодого Джолиона, который ушел к той иностранке. Ах, какой это был удар для его отца, для них всех! Мальчик подавал такие надежды! Какой удар! Хотя, к счастью, все обошлось без особенной огласки, потому что жена Джо не потребовала развода. Давно это было! А когда шесть лет назад мать Джун умерла, молодой Джолион женился на той женщине, и теперь у них, говорят, двое детей. И все-таки он утратил право присутствовать здесь, он украл у нее, у тети Энн, полноту чувства гордости за семью, отнял принадлежавшую ей когда-то радость видеть и целовать племянника, которым она так гордилась, который подавал такие надежды! Память об этой обиде, нанесенной столько лет назад, отзывалась горечью в ее упрямом старом сердце. Глаза тети Энн увлажнились. Она украдкой вытерла их тончайшим батистовым платком.

— Ну, что скажете, тетя Энн? — послышался чей-то голос позади нее.

Сомс Форсайт, узкий в плечах, узкий в талии, гладко выбритый, с узким лицом, но, несмотря на это, производивший всем своим обликом впечатление чего-то закругленного и замкнутого, смотрел на тетю Энн искоса, как бы стараясь раз-

глядеть ее сквозь препятствие в виде собственного носа.

– Как *вы* относитесь к этой помолвке? – спросил он.

Глаза тети Энн покоились на нем с гордостью: этот племянник, самый старший с тех пор, как молодой Джолион покинул родное гнездо, стал теперь ее любимцем; тетя Энн видела в нем надежного хранителя духа семьи – духа, который ей уже недолго осталось охранять.

– Очень удачный шаг для молодого человека, – сказала она. – Внешность у него хорошая. Только я не знаю, такой ли жених нужен нашей дорогой Джун.

Сомс потрогал ножку позолоченного канделябра.

– Она его приручит, – сказал он и, лизнув украдкой палец, потер узловатые выпуклости канделябра. – Настоящий старинный лак; теперь такого не делают. У Джобсона¹² за него дали бы хорошую цену. – Сомс смаковал свои слова, как бы чувствуя, что они придают бодрости его старой тетке. Он редко бывал так разговорчив. – Я бы сам не отказался от такой вещи, – добавил он, – старинный лак всегда в цене.

– Ты так хорошо разбираешься во всем этом, – сказала тетя Энн. – А как себя чувствует Ирэн?

Улыбка на губах Сомса сейчас же увяла.

– Ничего, – сказал он. – Жалуется на бессонницу, а сама спит куда лучше меня, – и он посмотрел на жену, разговаривавшую в дверях с Босини.

Тетя Энн вздохнула.

¹² Аукционный зал

– Может быть, – сказала она, – ей не следует так часто встречаться с Джун. У нашей Джун такой решительный характер!

Сомс вспыхнул; когда он краснел, румянец быстро перебегал у него со щек на переносицу и оставался там как клеймо, выдававшее его душевное смятение.

– Не знаю, что она находит в этой трещотке, – вспыхнул Сомс, но, заметив, что они уже не одни, отвернулся и опять стал разглядывать канделябр.

– Говорят, Джолион купил еще один дом, – услышал он рядом с собой голос отца. – У него, должно быть, уйма денег, – не знает, куда их девать! На Монпелье-сквер, кажется; около Сомса! А мне ничего не сказали – Ирэн мне никогда ничего не рассказывает!

– Прекрасное место, в двух минутах ходьбы от меня, – послышался голос Суизина, – а я доезжаю до клуба в восемь минут.

Местоположение домов было для Форсайтов вопросом громадной важности, и в этом не было ничего удивительного, ибо дом олицетворял собой самую сущность их жизненных успехов.

Отец их, фермер, приехал в Лондон из Дорсетшира в начале столетия.

«Гордый Доссет Форсайт», как его называли близкие, был по профессии каменщиком, а впоследствии поднялся до положения подрядчика по строительным работам. На склоне

лет он перебрался в Лондон, где работал на постройках до самой смерти, и был похоронен на Хайгетском кладбище. После кончины отца десять человек детей получили свыше тридцати тысяч фунтов стерлингов. Старый Джолион, вспоминая о нем, что случалось довольно редко, говорил так: «Упорный был человек, кремень; и не очень отесанный». Второе поколение Форсайтов чувствовало, что такой родитель, пожалуй, не делает им особой чести. Единственная аристократическая черточка, которую они могли уловить в характере «Гордого Доссета», было его пристрастие к мадере.

Тетя Эстер – знаток семейной истории – описывала отца так:

– Я не помню, чтобы он чем-нибудь занимался; по крайней мере в мое время. Он... э-э... у него были свои дома, милый. Цвет волос приблизительно, как у дяди Суизина; довольно плотного сложения. Высокий ли? Н-нет, не очень. («Гордый Доссет» был пяти футов пяти дюймов роста, лицо в багровых пятнах.) Румяный. Помню, он всегда пил мадеру. Впрочем, спроси лучше тетю Энн. Кем был его отец? Он... э-э... у него были какие-то дела с землей в Дорсетшире, на побережье.

Как-то раз Джемс отправился в Дорсетшир посмотреть собственными глазами на то место, откуда все они были родом. Он нашел там две старые фермы, дорогу к мельнице на берегу, глубоко врезающуюся колеями в розоватую землю; маленькую замшелую церковь с оградой на подпорках и

рядом совсем маленькую и совсем замшелую часовню. Речка, приводившая в движение мельницу, разбегалась, журча, на ручейки, а вдоль ее устья бродили свиньи. Легкая дымка застилала все вокруг. Должно быть, первобытные Форсайты веками, воскресенье за воскресеньем, мирно шествовали к церкви по этой ложбине, увязая в грязи и глядя прямо на море.

Лелеял ли Джемс надежду на наследство или думал найти там что-нибудь достопримечательное – неизвестно; он вернулся в Лондон обескураженный и с трогательным упорством постарался хоть как-нибудь смягчить свою неудачу.

– Ничего особенного там нет, – сказал он, – настоящий деревенский уголок, старый как мир.

Почтенный возраст этого местечка подействовал на всех успокоительно. Старый Джолион, которого иногда обурежала безудержная честность, отзывался о своих предках так: «Йомены – мелкота, должно быть». И все же он повторял слово «йомены», как будто находил в нем утешение.

Форсайты так хорошо повели свои дела, что стали, как говорится, «людьми с положением». Они вкладывали капиталы во всевозможные бумаги, за исключением консолей – не в пример Тимоти, – потому что больше всего на свете их пугали три процента. Кроме того, они коллекционировали картины и состояли в тех благотворительных обществах, которые могли оказаться полезными для их заболевшей прислуги. От отца-строителя Форсайты унаследовали таланты по

части кирпича и известки. Предки их были, вероятно, членами какой-нибудь примитивной секты, а теперешние Форсайты, разумеется, росли в лоне англиканской церкви¹³ и следили за тем, чтобы их жены и дети аккуратно посещали самые фешенебельные храмы столицы. Малейшее сомнение в искренности их верований повергло бы Форсайтов в горестное изумление. Некоторые из них платили за постоянные места в церкви, весьма практически выражая этим свое сочувствие учению Христа.

Их жилища, расположенные вокруг Хайд-парка, на определенном расстоянии друг от друга, следили, как стражи, за тем, чтобы прекрасное сердце Лондона – средоточие форсайтских помыслов – не ускользнуло из их цепких объятий, тем самым уронив Форсайтов в их же собственных глазах.

Старый Джолион жил на Стэнхоп-Плейс; Джемс с семьей – на Парк-Лейн; Суизин – в безлюдном великолепии своих оранжево-голубых апартаментов около Хайд-парка (он не женат, нет, благодарю покорно!); Сомс с женой – в своем гнездышке недалеко от Найтсбриджа; Роджер – в Принсез-Гарденс (Роджер был тот самый знаменитый Форсайт, который задумал дать новую профессию своим четырем сыновьям и привел эту мысль в исполнение. «Самое лучшее дело – недвижимость! – говорил он. – Я только этим и занима-

¹³ *Англиканская церковь* – государственная церковь Англии, основанная актом Генриха VIII в 1534 г. По формам богослужения и церковному устройству находится между католической и лютеранской, по учению в основных чертах протестантская. Главой церкви является король (королева).

юсь!») Затем Хэймены (миссис Хэймен была единственная замужняя сестра Форсайтов) – на вершине Кэмпден-Хилла, в доме, похожем на жирафа, таком высоком, что, глядя на него, можно было свернуть себе шею; Николас с семьей – на Лэдброк-Гров, в просторном особняке, купленном по чрезвычайно сходной цене; и, наконец, Тимоти – на Бэйсуотер-Род, вместе с Энн, Джули и Эстер, жившими под его защитой.

Джемс, до сих пор думавший о чем-то своем, осведомился у хозяина и брата, сколько тот заплатил за дом на Монпелье-сквер. Он сам вот уже два года присматривается к какому-нибудь такому дому, но за них слишком дорого просят!

Старый Джолион рассказал о своей покупке со всеми подробностями.

– Контракт на двадцать два года? – повторил Джемс. – Это тот самый, который я собирался купить. Ты переплатил за него!

Старый Джолион нахмурился.

– Мне он не нужен, – заторопился Джемс, – не подходит по цене. Сомс знает этот дом, он подтвердит, что это слишком дорого, – его мнение чего-нибудь да стоит.

– Очень мне интересно знать его мнение, – сказал старый Джолион.

– Ну, ты всегда делаешь по-своему, – пробормотал Джемс, – а мнение стоящее. Прощай! Мы хотим проехать в Харлингэм. Я слышал, что Джун уезжает в Уэлс. Тебе

будет тоскливо одному. Что ты будешь делать? Приезжай к нам завтра обедать.

Старый Джолион отказался. Он проводил их до дверей и, уже успев забыть свое раздражение, подмигнул, глядя, как они усаживаются в экипаж: лицом к упряжке – миссис Джемс, высокая и величественная, с каштановыми волосами; слева от нее – Ирэн; оба мужа – отец и сын – напротив жен, словно настороже. Старый Джолион смотрел, как они отъезжают в полном молчании, освещенные солнцем, раскачиваясь и подскакивая на пружинных подушках в такт движению экипажа.

Молчание было прервано миссис Джемс.

– Ну и сборище! – сказала она.

Сомс кивнул и, бросив на нее взгляд из-под опущенных век, заметил, как непроницаемые глаза Ирэн скользнули по его лицу. Весьма вероятно, что все члены форсайтской семьи отпускали то же самое замечание, разъезжаясь группами с приема у старого Джолиона.

Четвертый и пятый братья, Николас и Роджер, вышли вместе с последними гостями и направились вдоль Хайд-парка, к станции подземной железной дороги на Прэд-стрит. Как и все Форсайты солидного возраста, они держали собственных лошадей и по мере возможности старались никогда не пользоваться наемными экипажами.

День был ясный, деревья в парке стояли во всем блеске июньской листвы, но братья, видимо, не замечали этих по-

дарков природы, которые все же способствовали приятности прогулки и беседы.

– Да, – сказал Роджер, – у Сомса очаровательная жена. Говорят, они не ладят.

У этого брата был высокий лоб и свежий цвет лица – свежее, чем у остальных Форсайтов. Его светло-серые глаза рассматривали фасады вдоль тротуара. Время от времени Роджер поднимал зонтик и прикидывал им высоту домов, «за-секая их», как он выражался.

– У нее нет собственных средств, – ответил Николас.

Сам он женился на больших деньгах, а так как это произошло в те золотые времена, когда еще не был введен закон об имуществе замужних женщин¹⁴, то Николасу удалось найти для приданого жены весьма удачное применение.

– Кто был ее отец?

– Фамилия его Эрон; говорят, профессор.

Роджер покачал головой.

– Тут деньгами и не пахнет, – сказал он.

– Говорят, что ее дед со стороны матери торговал цементом.

Лицо Роджера просветлело.

– Но обанкротился, – продолжал Николас.

– А! – воскликнул Роджер. – У Сомса еще будут неприят-

¹⁴ *Закон об имуществе замужних женщин...* – Принятый в 1882 г. в Англии закон изменил правило, согласно которому все имущество замужней женщины переходило к ее мужу.

ности из-за нее. Помяни мое слово, у него будут неприятности – в ней есть что-то иностранное.

Николас облизнул губы.

– Хорошенькая женщина, – и он махнул метельщику, чтобы тот уступил им дорогу.

– Как это он заполучил такую жену? – спросил вдруг Роджер. – Ее туалеты, должно быть, недешево обходятся!

– Энн мне говорила, – ответил Николас, – что Сомс был просто помешан на ней. Она пять раз ему отказывала. По моему, Джемс спокоен насчет них.

– А! – опять сказал Роджер. – Жаль Джемса, у него было столько хлопот с Дарти.

Его яркий румянец еще сильнее разгорелся от ходьбы, он поднимал зонтик все чаще и чаще. У Николаса было тоже очень довольное выражение лица.

– Слишком бледна, на мой взгляд, – сказал он, – но фигура великолепная!

Роджер промолчал.

– По моему, у нее очень благородный вид, – сказал он наконец. Эта была самая высшая похвала в словаре Форсайтов. – Из этого юнца Босини вряд ли выйдет что-нибудь путное. У Баркита говорят, что он, видите ли, талант. Задумал улучшить английскую архитектуру; тут деньгами и не пахнет! Хотел бы я послушать, что говорит по этому поводу Тимоти.

Они подошли к кассе.

– Ты каким классом поедешь? Я – вторым.

– Не признаю второго, – сказал Николас, – того и гляди подцепишь что-нибудь.

Он взял билет первого класса до Ноттинг-Хилл-Гейт; Роджер – второго до Саут-Кенсингтон. Через минуту подошел поезд, братья простились и разошлись по разным вагонам. Каждый был обижен, что другой не пожертвовал своей привычкой ради того, чтобы побыть немного дольше в его обществе. Роджер подумал: «Ник – упрямый осел, впрочем, как и всегда!» А Николас мысленно выразился так: «Роджер только и делает, что брюзжит!»

Члены этой семьи не отличались сентиментальностью. Громадный Лондон, завоеванный Форсайтами и поглотивший их всех, – разве он оставлял время для сантиментов?

II

Старый Джолион едет в оперу

На следующий день, в пять часов, старый Джолион сидел один, куря сигару; на столике рядом с ним стояла чашка чая. Он чувствовал себя утомленным и, не успев докурить, задремал. На голову ему уселась муха, его верхняя губа оттопыривалась под седыми усами в такт тяжелому дыханию, раздававшемуся в сонной тишине. Сигара выскользнула из морщинистой, со вздувшимися венами руки и, упав в холодный камин, там и дотлела.

Небольшой сумрачный кабинет с окнами из цветного стекла, чтобы не видеть улицу, был заставлен мебелью красного дерева с темно-зеленой бархатной обивкой и сложной резьбой. Старый Джолион не раз говорил про этот гарнитур: когда-нибудь за него дадут большие деньги, и ничего удивительного в этом не будет.

Приятно было думать, что со временем он сможет получить за вещи больше той суммы, которая когда-то была за них уплачена.

На фоне густых коричневых тонов, обычных для непарадных комнат в жилищах Форсайтов, рембрандтовский эффект его массивной седовласой головы, откинутой на подушку кресла с высокой спинкой, портили только усы, придававшие ему сходство с военным. Старинные часы, которые он приобрел почти полвека назад, еще до женитьбы, своим тиканьем вели ревнивый счет секундам, навсегда ускользавшим от их старого хозяина.

Он никогда не любил этой комнаты и почти не заглядывал сюда, если не считать тех случаев, когда надо было взять сигары из стоявшей в углу японской шкатулки, и комната теперь мстила ему.

Его резко выступавшие виски, его скулы и подбородок – все заострилось во время сна, и на лице старого Джолиона появилось признание, что он стал стариком.

Он проснулся. Джун уехала! Джемс сказал, что ему будет тоскливо одному. Джемс всегда был глуповат. Он с удо-

влетворением вспомнил о доме, который удалось перехватить у Джемса. Поделом ему – нечего было скупиться; только о деньгах и думает. А может быть, он действительно переплатил? Нужен большой ремонт. Можно с уверенностью сказать, что ему понадобятся все деньги, какие только есть, пока не кончится эта история с Джун. Не надо было разрешать помолвку. Она познакомилась с этим Босини у Бейнзов – архитекторы Бейнз и Байлдбой. Кажется, Бейнз, с которым он встречался, – тот, что похож на старую бабу, – приходится этому молодому человеку дядей по жене. С тех пор Джун только и знает, что бегать за женихом, а если уж она вбила себе что-нибудь в голову, ее не остановишь. Она постоянно возится с какими-нибудь «несчастненькими». У этого молодого человека нет денег, но ей во что бы то ни стало понадобилось обручиться с безрассудным, непрактичным мальчишкой, который еще не оберется всяческих затруднений в жизни.

Она явилась однажды и, как всегда, с бухты-барахты рассказала ему все; и еще добавила, как будто это могло служить утешением:

– Фил такой замечательный! Он сплошь и рядом по целым неделям сидел на одном какао.

– И он хочет, чтобы ты тоже сидела на одном какао?

– Ну нет, он теперь выбирается на дорогу.

Старый Джолион вынул сигару из-под седых усов, кончики которых потемнели от кофе, и посмотрел на Джун, на эту

пушинку, что так завладела его сердцем. Он-то знал больше об этих «дорогах», чем внушка. Но она обняла его колени и потерлась о них подбородком, мурлыкая, точно котенок. И, страхнув пепел с сигары, он разразился:

– Все вы одинаковы: не успокойтесь, пока не добьетесь своего. Если тебе суждено хлебнуть горя, ничего не поделаешь. *Я* умываю руки.

И он действительно умыл руки, поставив условием, что свадьбу отложат до тех пор, пока у Босини не будет по крайней мере четырехсот фунтов в год.

– Я не смогу много дать тебе, – сказал он; эту фразу Джун слышала не в первый раз. – Может быть, у этого – как его там зовут? – хватит на какао?

Он почти не видел ее с тех пор, как это началось. Да, плохо дело. Он не имел ни малейшего намерения дать ей уйму денег и тем самым обеспечить праздную жизнь человеку, о котором он ничего не знал. Ему приходилось наблюдать подобные случаи и раньше: ничего путного из этого не выходило. Хуже всего было то, что у него не оставалось ни малейшей надежды поколебать ее решение: она упряма, как мул, всегда была такая, с самого детства. Он не представлял себе, чем все это кончится. По одежке протягивай ножки. Он не уступит до тех пор, пока не убедится, что у Босини есть собственные доходы. Ясно как божий день: Джун хватит горя с человеком, который не имеет ни малейшего представления о деньгах. Что же касается ее скоропалительной поездки в

Уэльс к теткам Босини, то он твердо уверен, что эти тетки – препротивные старухи, и больше ничего.

И старый Джолион не двигаясь смотрел прямо перед собой в стену; если бы не открытые глаза, он казался бы спящим... Подумать только, что этот щенок Сомс может давать ему советы! Он всегда был щенком, всегда задирает нос! Скоро того и гляди станет собственником, построит загородный дом! Собственник! Хм! Весь в отца, только и смотрит, как бы обделаться дельце повыгоднее, бездушный пройдоха!

Старый Джолион поднялся и, подойдя к шкатулке, размеренными движениями стал наполнять свой портсигар из только что присланной пачки. Сигары неплохие, и не так дорого, но по теперешним временам хороших сигар не достанешь, теперешние и в сравнение не идут с прежними. «Сьюперфайнос» от Хэнсона и Бриджера! Вот это были сигары!

Мысль эта, как еле уловимый запах, унесла его в прошлое, к тем чудесным вечерам в Ричмонде, когда он сидел с послеобеденной сигарой на террасе «Короны и скипетра» вместе с Николасом Треффри, Трэкуэром, Джеком Хэрингом и Антони Торнуорси. Какие хорошие сигары тогда были! Бедняга Ник! – умер, и Джек Хэринг умер, и Трэкуэр – жена в могилу свела, а Торнуорси сильно сдал за последнее время (ничего удивительного при таком аппетите).

Из всей компании, кажется, только он один и остался, конечно, если не считать Суизина, а этот до того растолстел, что на него только рукой махнуть.

Трудно поверить, что все это было так давно; он еще чувствует себя молодым! Из всех мыслей, пронесившихся в голове старого Джолиона, пока он стоял, пересчитывая сигары, эта была самая мучительная, самая горькая. Несмотря на свою седую голову и одиночество, он сохранил молодость и свежесть сердца. А те воскресные дни на Хэмстед-Хисе, когда молодой Джолион ходил вместе с ним на прогулку по Спэньярдс-Род на Хайгет, Чайлдс-Хилл и обратно, снова через Хис, обедать в «Замок Джека Соломинки», – какие восхитительные тогда были сигары! А какая погода! С теперешней даже сравнить нельзя.

Когда Джун была пятилетней крошкой и он ходил с ней через воскресенье в зоологический сад, забирая ее у этих добрейших женщин – ее матери и бабушки, – и совал в клетку ее любимцам медведям булки, насаженные на конец зонтика, какие тогда были вкусные сигары!

Сигары! Он до сих пор не утратил своего тончайшего вкуса – прославленного вкуса, который в пятидесятых годах люди считали мерилом и, заговорив о старом Джолионе, восклицали: «Форсайт! Ну еще бы, в Лондоне не найдется лучшего дегустатора!» Вкус, в некотором смысле принесший состояние своему владельцу и известной чайной фирме «Форсайт и Треффри», чай у которой, как ни у кого другого, имел романтический аромат – совсем особую прелесть настоящего чая. Фирму «Форсайт и Треффри» в Сити окутывала атмосфера тайны и предприимчивости, эта фирма заключала

специальные контракты на специальные корабли, в специальных портах, со специальными восточными купцами.

В свое время он много поработал! Тогда умели работать. Теперешние молокососы вряд ли вникают в смысл этого слова. Он входил во все мелочи, знал все, что делалось в фирме, иногда просиживал за работой целыми ночами. И всегда сам подбирал себе агентов и гордился этим. Умение подбирать людей, как он часто говорил, и было секретом его успеха, а применение этой хитрой науки было единственной частью работы, которая ему действительно нравилась. Не совсем подходящая карьера для человека с его способностями. Даже теперь, когда фирма была преобразована в «Лимитэд компани» и дела ее шли все хуже (он давно разделался со своими акциями), старый Джолион чувствовал острую боль, вспоминая те времена. Насколько лучше можно было прожить жизнь! Из него мог бы выйти блестящий адвокат! Он даже подумывал иногда, не выставить ли свою кандидатуру в парламент. Сколько раз Николас Треффри говорил ему: «Ты мог бы достичь чего угодно, Джо, если бы только не берег себя так!» Старина Ник! Прекрасный человек, но бесшабашная голова! Всем известный Треффри! Он-то себя никогда не берег. Вот и умер. Старый Джолион твердой рукой пересчитал сигары, и в голову ему закралось сомнение: а может быть, он действительно слишком берег себя?

Он положил портсигар во внутренний карман, застегнул сюртук и, тяжело ступая и опираясь рукой на перила, под-

нялся по высокой лестнице к себе в спальню. Дом слишком велик. Когда Джун выйдет замуж, если только она в конце концов выйдет за этого человека, а этого следует ожидать, он сдаст большой дом в аренду, а сам снимет квартиру. Чего ради держать ораву слуг, которым совершенно нечего делать?

На его звонок пришел лакей – высокий бородатый человек с неслышной поступью и совершенно исключительной способностью молчать. Старый Джолион приказал ему приготовить фрак; он поедет обедать в клуб.

– Когда коляска вернулась с вокзала? В два часа? Тогда велите подать к половине седьмого.

Клуб, куда старый Джолион вошел ровно в семь часов, был одним из тех политических учреждений крупной буржуазии, которое знавало лучшие времена. Несмотря на то, что сплетники предсказывали ему близкий конец, а может быть, вследствие этих сплетен клуб проявлял удручающую живучесть. Всем уже наскучило повторять, что «Разлад» находится при последнем издыхании. Старый Джолион тоже говорил это, но относился к самому факту с равнодушием, раздражавшим заправских клубменов.

– Почему ты не уйдешь отсюда? – часто с глубокой досадой спрашивал его Суизин. – Почему бы тебе не перейти в «Полиглот»? Такого вина, как наш Хайдсик, во всем Лондоне не достанешь дешевле двадцати шиллингов за бутылку. – И, понизив голос, добавлял: – Осталось всего-навсего пять тысяч дюжин. Я пью его изо дня в день.

– Я подумаю, – отвечал старый Джолион, но всякий раз, когда он задумывался над этим, перед ним вставал вопрос о пятидесяти гинеях вступительного взноса и о четырех-пяти годах, которые понадобились бы, чтобы пройти в члены. И старый Джолион продолжал думать.

Он был слишком стар, чтобы вдруг стать либералом, давно уже перестал верить в политические доктрины своего клуба, даже называл их, как это было известно, «белибердой», но ему доставляло удовольствие быть членом клуба, принципы которого так расходились с его собственными. Старый Джолион всегда презирал это учреждение и вступил сюда много лет назад, после того как был забаллотирован во «Всякой всячине» под тем предлогом, что он занимался торговлей. Точно он был хуже других! Вполне естественно, что старый Джолион презирал клуб, который принял его. Публика там была средняя, многие из Сити – биржевые маклеры, адвокаты, аукционисты, всякая мелюзга! Как большинство людей сильного характера, но не слишком большой самобытности, старый Джолион был невысокого мнения о классе, к которому принадлежал сам. Он неизменно следовал его законам, как общественным, так и всяким другим, а втайне считал людей своего класса сбродом.

Годы и философические раздумья, которым он отдал дань, стусевали воспоминание о поражении, понесенном во «Всякой всячине», и теперь этот клуб возвышался в его мыслях как лучший из лучших. Он мог бы состоять там членом

все эти годы, но его поручитель Джек Хэринг так небрежно повел все дело, что в клубе просто сами не понимали, какую они совершают ошибку, отводя кандидатуру старого Джолиона. А ведь его сына Джо приняли сразу, и, по всей вероятности, мальчик и до сих пор состоит там членом; он получил от него письмо оттуда восемь лет назад.

Старый Джолион не показывался в своем клубе уже многие месяцы, и за это время здание его подверглось той пестрой отделке, какой люди обычно приукрашивают старые дома и старые корабли, желая сбыть их с рук.

«Курительную комнату покрасили безобразно, – подумал он. – Столовая получилась хорошо».

Ее сумрачный, шоколадный тон, оживленный светло-зеленым, ему понравился.

Старый Джолион заказал обед и сел в том же углу, может быть, за тот же самый столик (в «Разладе», где властвовали принципы чуть ли не радикализма, перемен было мало), за который они с молодым Джолионом садились двадцать пять лет назад перед поездкой в «Друри-Лейн»¹⁵, куда он часто возил сына во время каникул.

Мальчик очень любил театр, и старый Джолион вспомнил, как Джо садился напротив, тщетно стараясь скрыть свое волнение под маской безразличия.

И он заказал себе тот же самый обед, который всегда выбирал мальчик, – суп, жареные уклейки, котлеты и сладкий

¹⁵ «Друри-Лейн» – драматический театр в Лондоне, основанный в XVII в.

пирог. Ах, если бы он сидел сейчас напротив!

Они не встречались четырнадцать лет. И не первый раз за эти четырнадцать лет старый Джолион задумался о том, не сам ли он до некоторой степени виноват в тяжелой истории с сыном. Неудачный роман с дочерью Антони Торнуорси, этой вертушкой Данаей Торнуорси, теперь Данаей Белью, бросил его в объятия матери Джун. Может быть, следовало помещать этому браку: они были слишком молоды. Но после того как уязвимое место Джо обнаружилось, он хотел возможно скорее видеть его женатым. А через четыре года разразилась катастрофа. Оправдать поведение сына во время этой катастрофы было, конечно, невозможно; здравый смысл и воспитание – комбинация всемогущих факторов, заменявших старому Джолиону принципы, – твердили об этой невозможности, но сердце его возмущалось. Суровая неумолимость всей этой истории не знала снисхождения к человеческим сердцам. Осталась Джун – песчинка с пламенеющими волосами, которая завладела им, обвила, оплелась вокруг него – вокруг его сердца, созданного для того, чтобы быть игрушкой и любимым прибежищем крохотных, беспомощных существ. С характерной для него проницательностью он видел, что надо расстаться или с сыном, или с ней – полумеры здесь не могли помочь. В этом и заключалась трагедия. И крохотное беспомощное существо победило. Он не мог служить двум богам и простился со своим сыном.

Эта разлука длилась до сих пор.

Он предложил молодому Джолиону денежную помощь, несколько меньшую, чем прежде, но сын отказался принять ее, и, может быть, этот отказ оскорбил его больше, чем все остальное, потому что теперь исчезла последняя отдушина для его чувства, не находившего иного выхода, и появилось столь осязаемое, столь реальное доказательство разрыва, какое может дать только контракт на передачу собственности – заключение такого контракта или расторжение его.

Обед показался ему пресным. Шампанское было как несладкая, горьковатая водичка, – ничего похожего на «Вдову Клико» прежних лет.

За чашкой кофе ему пришла мысль съездить в оперу. Он посмотрел в «Таймс» программу на сегодняшний вечер – к другим газетам старый Джолион питал недоверие. Давали «Фиделио»¹⁶.

Благодарение Богу, что не какая-нибудь новомодная немецкая пантомима этого Вагнера¹⁷.

Надев старый цилиндр с выпрямившимися от долгой носки полями и объемистой тульей, цилиндр, казавшийся эмблемой прежних лучших времен, и захватив старую пару очень тонких светлых перчаток, распространявших сильный запах кожи вследствие постоянного соседства с портсига-

¹⁶ «Фиделио» – опера Бетховена; имеет три редакции – 1805, 1806 и 1814 гг. соответственно.

¹⁷ Вагнер Рихард (1813–1883) – немецкий композитор, дирижер, драматург, музыкальный писатель. Автор опер «Летучий голландец» (1843), «Тангейзер» (1845), «Кольцо нибелунга» (тетралогия, 1869–1876) и др.

ром, лежавшим в кармане его пальто, он уселся в кэб.

Кэб весело загромыхал по улицам, и старый Джолион удивился, заметив на них необычное оживление. «Отели, вероятно, загребают уйму денег», – подумал он. Несколько лет назад этих отелей и в помине не было. Он с удовлетворением подумал о земельных участках, имевшихся у него в этих местах. Вероятно, поднимаются в цене с каждым днем. Какое здесь движение!

Но вслед за этим он предался странным, отвлеченным размышлениям, совершенно необычным для Форсайтов, в чем отчасти и заключался секрет его превосходства над ними. Какие все-таки песчинки люди и сколько их! И что со всеми нами будет?

Он оступился, выходя из кэба, заплатил кэбмену ровно столько, сколько следовало, прошел к кассе за билетом в кресла и остановился, держа кошелек в руке, – он всегда носил деньги в кошельке, не одобряя привычки рассовывать их прямо по карманам, как теперь делает молодежь. Кассир выглянул из окошечка, как старый пес из конуры.

– Кого я вижу! – сказал он удивленным голосом. – Да это мистер Джолион Форсайт! Так и есть! Давненько не видались, сэр. Да! Теперь времена совсем другие! Ведь вы с братом, и мистер Трэкуэр, и мистер Николас Треффри брали у нас шесть или семь кресел на каждый сезон. Как поживаете, сэр? Мы с вами не молодеем!

У старого Джолиона заблестели глаза; он уплатил гинеею.

Его еще не забыли. Под звуки увертюры он проследовал в зал, как старый боевой конь на поле битвы.

Сложив цилиндр, он опустился в кресло, привычным жестом вынул из кармана перчатки и поднял к глазам бинокль, чтобы как следует осмотреть весь театр. Опустив наконец бинокль на сложенный цилиндр, он обратил свой взор на занавес. Острее, чем когда-либо, старый Джолион почувствовал, что его песенка спета. Куда девались женщины, красивые женщины, бывало наполнявшие театр? Куда девался тот прежний сердечный трепет, с которым он ждал появления знаменитого певца? Где то чувство опьянения жизнью, опьянения своей способностью наслаждаться ею?

Когда-то он был завзятым театралом! Нет теперь оперы! Этот Вагнер погубил все – ни мелодии, ни голосов. А какие замечательные были певцы! Нет их теперь. Он смотрел на актеров, разыгрывающих старые, знакомые сцены, и чувствовал, как цепенеет его сердце.

Начиная с седого завитка над ухом и кончая лакированными башмаками с резинкой, в старом Джолионе не было и следа старческой неуклюжести и слабости. Такой же прямой – почти такой же, как в те прежние времена, когда он приходил сюда каждый вечер; такое же хорошее зрение – почти такое же хорошее. Но это чувство усталости и разочарования!

Всю свою жизнь он наслаждался всем, даже несовершенным – а несовершенного было много, – и наслаждался умеренно, чтобы не утратить молодости. Но теперь ему измени-

ла и способность наслаждаться жизнью и умение философски смотреть на нее, осталось только ужасное чувство конца. Ни хор узников, ни даже ария Флорестана¹⁸ не были властны рассеять тоскливость его одиночества.

Если бы только Джо был с ним! Мальчику, должно быть, уже стукнуло сорок. Он потерял четырнадцать лет жизни своего единственного сына. Джо теперь уже не пария в обществе. Он женился. Старый Джолион не мог удержаться от того, чтобы не отметить своим одобрением этот поступок, и послал сыну чек на пятьсот фунтов. Чек был возвращен в письме, отправленном из «Всякой всячины» и содержавшем следующее:

«Дорогой отец!

Мне было приятно получить Ваш щедрый подарок – он служит доказательством того, что Вы не так плохо думаете обо мне. Я возвращаю чек, но если Вы сочтете возможным передать свой подарок нашему малышу (мы зовем его Джолли), который носит наше имя и фамилию, я буду Вам очень признателен.

Надеюсь от всего сердца, что Вы чувствуете себя так же хорошо, как и прежде.

Любящий Вас сын Джо».

Письмо так похоже на мальчика. Он всегда был такой приветливый. Старый Джолион послал следующий ответ:

«Дорогой Джо!

¹⁸ Флорестан – персонаж оперы Бетховена «Фиделио».

Сумма (500 ф. ст.) занесена в мои книги на имя твоего сына, Джолиона Форсайта; соответственным образом на нее будут начисляться 5 %. Я надеюсь, что дела твои идут хорошо. Мое здоровье в настоящее время неплохо.

Остаюсь любящий тебя отец *Джолион Форсайт*».

И каждый год первого января он прибавлял к этой сумме сто фунтов плюс проценты. Сумма росла; к следующему новому году там будет тысяча пятьсот фунтов стерлингов с небольшим. И трудно выразить то удовлетворение, какое приносила ему эта ежегодная операция. Но переписка их прекратилась.

Несмотря на любовь к сыну, несмотря на инстинкт, отчасти врожденный, отчасти появившийся у него, как и у сотен людей одного с ним класса, в результате постоянной близости к деловому миру и заставляющий его оценивать поведение людей не с принципиальных позиций, а на основании вытекавших из этого поведения последствий, старый Джолион чувствовал в глубине сердца какое-то беспокойство. Обстоятельства сложились так, что его сын должен был погибнуть; закон этот провозглашался во всех романах, проповедях и пьесах, которые он когда-либо читал, слышал или смотрел.

Когда чек пришел обратно, старому Джолиону показалось, что творится что-то неладное. Почему его сын не погиб? Но кто мог ответить на этот вопрос?

Он слышал, конечно, – вернее, сам постарался разуз-

нать, – что Джо живет в Сент-Джонс-Вуд, где у него есть небольшой дом с садом на Вистариа-авеню, что у него с женой свой круг знакомых, по всей вероятности весьма сомнительных, и что у них двое детей: мальчик Джолли¹⁹ (принимая во внимание все обстоятельства, старый Джолион находил это имя циничным, а он и побаивался и не любил цинизма) и девочка Холли, родившаяся уже после их женитьбы. Кто знает, в каких условиях живет его сын? Он превратил в наличные деньги наследство, полученное от деда со стороны матери, и поступил к Ллойдсу страховым агентом; кроме того, занимался живописью – писал акварели. Старому Джолиону было известно это, так как, увидев однажды в витрине подпись своего сына под акварелью, изображавшей Темзу, он стал время от времени тайком покупать их. Он считал акварели плохими и не развешивал их из-за подписи; он держал их в ящике под замком.

Сидя в громадном зале, старый Джолион почувствовал непреодолимое желание повидать сына. Ему вспомнились те дни, когда он раскачивал на коленях мальчугана в полотняном костюмчике; то время, когда он бегал рядом с пони и учил Джо ездить верхом; тот день, когда он первый раз отвез его в школу. Джо всегда был славный, приветливый мальчик! В Итоне он, может, чуточку переборщил, набираясь хороших манер, которые, как старому Джолиону было известно, только в таких местах и приобретаются, и за большие день-

¹⁹ Jolly – веселый (англ.).

ги; но он всегда оставался хорошим товарищем. Всегда хороший товарищ, даже после Кембриджа – быть может, чуточку сдержанный благодаря тем преимуществам, которые ему дало образование! Отношение старого Джолиона к закрытым школам и университетам оставалось неизменным: он трогательно сохранил и уважение и недоверие к воспитательной системе, которая была предназначена для избранных и к которой сам он не удостоился приобщиться... Сейчас, когда Джун уехала и покинула или почти что покинула его, встреча с сыном принесла бы ему утешение. Чувствуя, что он предаст свою семью, свои принципы, свой класс, старый Джолион перевел глаза на певицу. Жалкое зрелище! А Флорестан, какое убожество!

Опера кончилась. Как мало нужно теперь, чтобы доставить людям удовольствие!

В толпе на улице он завладел кэбом под самым носом у какого-то солидного, много моложе его самого, джентльмена, который уже считал кэб своим. Путь старого Джолиона лежал через Пэл-Мэл, и на углу кэбмен, вместо того чтобы поехать через Грин-парк, свернул на Сент-Джемс-стрит. Старый Джолион просунул руку в окошечко (он не выносил, когда кто-нибудь нарушал его привычки); оглянувшись, однако, он увидел, что находится напротив «Всякой всячины», и сокровенное желание, не оставлявшее его весь вечер, взяло верх. Он приказал остановиться. Он зайдет и спросит, состоит ли еще Джо членом клуба.

Он вошел. В холле все было по-прежнему, как в те времена, когда он заходил сюда обедать с Джеком Хэрингом, — ведь здесь держали самого лучшего повара в Лондоне. Старый Джолион обвел стены тем острым, прямым взглядом, благодаря которому его всю жизнь обслуживали лучше, чем большинство других людей.

— Мистер Джолион Форсайт все еще состоит членом клуба?

— Да, сэр; он сейчас здесь, сэр. Как прикажете доложить? Старый Джолион был застигнут врасплох.

— Его отец, — ответил он.

И, сказав это, занял место у камина, повернувшись спиной к огню.

Собираясь уходить из клуба, молодой Джолион надел шляпу и только что хотел пройти в холл, когда к нему подошел швейцар. Джо был уже не молод; в его волосах сквозила седина, лицо — копия отцовского, только чуть поуже, с точно такими же густыми обвислыми усами — носило явные следы усталости. Он побледнел. Встретиться после всех этих лет ужасно, потому что в мире нет ничего ужаснее сцен. Они подошли друг к другу и молча обменялись рукопожатием. Потом, с дрожью в голосе, отец сказал:

— Здравствуй, мой мальчик!

Сын ответил:

— Здравствуйте, папа!

Рука старого Джолиона в светлой тонкой перчатке дрожа-

ла.

– Если нам по дороге, – сказал он, – я тебя подвезу.

И, как будто подвозить друг друга домой каждый вечер было для них самым привычным делом, они вышли и сели в кэб.

Старому Джолиону показалось, что сын вырос. «Сильно возмужал», – решил он про себя. Всегда присущую лицу сына приветливость теперь прикрывала ироническая маска, как будто обстоятельства жизни заставили его надеть непроницаемую броню. Черты лица носили явно форсайтский характер, но в выражении его была созерцательность, больше свойственная лицу ученого или философа. Ему, без сомнения, приходилось много задумываться над самим собой в течение этих пятнадцати лет.

В первую минуту вид отца поразил молодого Джолиона – так он осунулся и постарел. Но в кэбе ему показалось, что отец почти не изменился – тот же спокойный взгляд, который он так хорошо помнил, такой же прямой стан, те же пронизательные глаза.

– Вы хорошо выглядите, папа.

– Посредственно, – ответил старый Джолион.

Его мучила тревога, и он считал себя обязанным выразить ее словами. Раз уж он выбрал такой путь, чтобы вернуть сына, надо узнать, в каком состоянии находятся его финансовые дела.

– Джо, – сказал он, – я бы хотел знать, как ты живешь. У

тебя есть долги, должно быть?

Он повел разговор так, чтобы сыну было легче признать-ся.

Молодой Джолион ответил ироническим тоном:

– Нет. У меня нет долгов.

Старый Джолион понял, что сын рассердился, и коснулся его руки. Он пошел на риск. Но рискнуть стоило; кроме того, Джо никогда на него не сердился раньше. Они доехали до Стэнхоп-Гейт, не говоря ни слова. Старый Джолион пригласил сына зайти, но молодой Джолион покачал головой.

– Джун нет дома, – поторопился сказать отец, – уехала сегодня в гости. Ты, вероятно, знаешь, что она помолвлена?

– Уже? – пробормотал молодой Джолион.

Старый Джолион вышел из кареты и, расплачиваясь с кэбменом, в первый раз в жизни дал по ошибке соверен вместо шиллинга²⁰.

Сунув монету в рот, кэбмен исподтишка стегнул лошадь по брюху и поторопился уехать.

Старый Джолион тихо повернул ключ в замке, отворил дверь и кивнул сыну. Молодой Джолион смотрел, как отец вешает пальто: степенно и все же с таким видом, словно он мальчишка, который собирается красть вишни.

Дверь в столовую была отворена; газ низко прикручен, на чайном подносе шипела спиртовка, рядом, на столе, с совер-

²⁰ Соверен – английская монета, равная по достоинству одному фунту стерлингов; шиллинг – мелкая монета, равная $\frac{1}{20}$ фунта стерлингов.

шенно беззастенчивым видом спала кошка. Старый Джолион сейчас же согнал ее оттуда. Этот инцидент принес ему облегчение; он постучал цилиндром ей вслед.

– У нее блохи, – сказал он, выпроваживая кошку из комнаты. Остановившись в дверях, которые вели из холла в подвальный этаж, он несколько раз крикнул «брысь», точно подгоняя кошку, и как раз в эту минуту внизу лестницы по странному стечению обстоятельств появился лакей.

– Можете ложиться спать, Парфит, – сказал старый Джолион. – Я сам запру дверь и потушу свет.

Когда он снова вошел в столовую, кошка, как на грех, выступала впереди него, задрав хвост и показывая всем своим видом, что она с самого начала поняла эту уловку, с помощью которой ему удалось избавиться от лакея.

Какой-то рок преследовал все домашние хитрости старого Джолиона.

Молодой Джолион не мог удержаться от улыбки. Он был далеко не чужд иронии, а в этот вечер, как ему казалось, все имело иронический оттенок. Эпизод с кошкой; известие о помолвке его собственной дочери. Значит, старый Джолион так же не властен над ней, как и над кошкой! И поэтическая справедливость всего этого нашла отклик у него в сердце.

– Расскажите про Джун, какая она теперь стала? – спросил он.

– Маленького роста, – ответил старый Джолион, – говорят, есть сходство со мной, но это вздор. Она больше похожа

на твою мать — те же глаза и волосы.

— Вот как! Хорошенькая?

Старый Джолион был слишком Форсайт, чтобы откровенно похвалить что-нибудь; в особенности то, чем он искренно восхищался.

— Недурненькая, настоящий форсайтский подбородок. Мне будет очень тоскливо, когда она уйдет, Джо.

Выражение его лица снова поразило молодого Джолиона, как и в первую минуту встречи.

— Что же вы теперь будете делать один, отец? Она, наверное, только о нем и думает?

— Что я буду делать? — повторил старый Джолион, и в голосе его послышались сердитые нотки. — Да, унылое занятие — жить здесь в одиночестве. Я не знаю, чем это кончится. Я бы хотел... — Он оборвал себя на полуслове и потом добавил: — Весь вопрос в том, как мне поступить с домом.

Молодой Джолион оглядел комнату. Она была большая и мрачная, по стенам висели громадные натюрморты, которые он помнил еще с детства: собаки, спавшие, уткнув носы в пучки моркови, по соседству с лежавшими тут же в кротком изумлении связками лука и винограда. Дом был явной обузой, но он не мог представить себе отца живущим в маленьком доме; и это только подчеркивало иронию, которую он видел сегодня во всем.

В большом кресле с подставкой для книги сидит старый Джолион — эмблема своей семьи, класса, верований: седая

голова и выпуклый лоб – воплощение умеренности, порядка и любви к собственности. Самый одинокий старик во всем Лондоне.

Так он сидит, окруженный унылым комфортом, марионетка в руках великих сил, которые не знают снисхождения ни к семье, ни к классу, ни к верованиям и, как автоматы, грозно движутся вперед к таинственной цели. Вот что увидел молодой Джолион, умевший отвлеченно смотреть на жизнь.

Бедный старик отец! Вот, значит, ради чего он прожил жизнь с такой поразительной умеренностью! Остаться одиноким и стареть все больше и больше, тоскуя по живому человеческому голосу!

И старый Джолион в свою очередь тоже смотрел на сына. Ему хотелось поговорить с ним о многом, о чем приходилось молчать все эти годы. Нельзя же было, в самом деле, посвящать Джун в свои соображения о том, что земельные участки в районе Сохо должны подняться в цене; рассказывать ей о той тревоге, которую ему причиняет зловещее молчание Пиппина, управляющего «Новой угольной компании», где он так давно председателем; о своем неудовольствии по поводу неуклонного падения акций «Американской Голгофы»; нельзя же обсуждать с ней вопрос о том, каким образом лучше всего обойти выплату налога на наследство после его смерти. Однако под влиянием чая, который он рассеянно помешивал ложечкой, старый Джолион наконец заговорил. Ему открылись новые жизненные просторы, земля

обетованная, где можно говорить, можно укрыться в тихой пристани от бури предчувствий и сожалений; успокоить душу опиумом всяческих уловок, направленных на то, чтобы округлить свое состояние и увековечить единственное, что останется жить после него.

Молодой Джолион умел слушать: это всегда было его большим достоинством. Он не сводил глаз с отца, время от времени вставляя вопрос.

Пробило час, а старый Джолион еще не успел сказать всего, но вместе с боем часов к нему вернулись его принципы. Он с удивленным видом вынул карманные часы.

– Мне пора спать, Джо.

Молодой Джолион поднялся и протянул руку, помогая отцу встать. Это старческое лицо снова показалось ему утомленным и осунувшимся: глаза отца упорно смотрели в сторону.

– Прощай, мой мальчик; береги себя.

Прошла минута, и, повернувшись на каблуках, молодой Джолион зашагал к двери. Он почти ничего не видел перед собой; его улыбающиеся губы дрожали. Ни разу за все пятнадцать лет, пробежавшие с тех пор, как он впервые понял, что жизнь не простая штука, не казалась она ему такой сложной.

III

Обед у Суизина

Круглый стол в оранжево-голубой столовой Суизина, выходившей окнами в парк, был накрыт на двенадцать персон.

Хрустальная люстра с зажженными свечами свешивалась над столом, как громадный сталактит, озаряя большие зеркала в золоченых рамах, мраморные доски столиков вдоль стен и громоздкие позолоченные стулья, расшитые шерстью. Каждая вещь говорила о любви к красивому, так глубоко коренящейся во всех семьях, которые пробивают себе дорогу в изысканное общество из самых недр естественного бытия. Суизин не признавал простоты и очень любил позолоченную бронзу, что всегда выделяло его среди остальных членов семьи как человека с большим, хотя и несколько причудливым вкусом, и сознание того, что всякий входящий в его комнаты сразу же видит в нем человека со средствами, неизменно доставляло ему такую радость, какую он вряд ли мог почерпнуть из других обстоятельств своей жизни.

Покончив с агентством по продаже домов – профессией, по его понятиям, весьма предосудительной, особенно в той ее части, которая касалась аукционов, – он всецело отдался своим аристократическим вкусам.

Роскошь, в которой он жил последние годы, засосала его, как патока муху; а в мозгу Суизина, ничем не занятом с ран-

него утра и до позднего вечера, странным образом сочетались два противоположных чувства: издавна укрепившееся удовлетворение тем, что он сам пробил себе дорогу и нажил состояние, и уверенность, что такому человеку, как он, никогда не следовало бы утруждать свою голову работой.

Суизин, в белом жилете на крупных пуговицах из оникса в золотой оправе, стоял около буфета и смотрел, как лакей втискивает три бутылки шампанского в ведро со льдом. Между уголками стоячего воротничка, фасон которого Суизин не согласился бы изменить ни за какие деньги, хотя воротник и мешал ему поворачивать голову, покоились дряблые складки его двойного подбородка. Глаза Суизина перебегали с одной бутылки на другую. Он соображал что-то, и в голове у него возникали такие доводы: Джолион выпьет один бокал, ну два, он ведь так бережет себя. Джемс теперь не может пить, Николас и Фанни будут тянуть стаканами воду, с них это станется. Сомс не идет в счет: эта молодежь — племянники (Сомсу был тридцать один год) — не умеет пить! А Босини? Почувяв в имени этого мало знакомого человека что-то находившееся за пределами его разума, Суизин запнулся. В нем зародилось недоверие. Трудно сказать! Джун еще девочка, к тому же влюбленная! Эмили (миссис Джемс) любит выпить бокал хорошего шампанского. Джули оно покажется чересчур сухим: старушка совсем не разбирается в винах. Что же касается Хэтти Чесмен... Мысль о старой приятельнице затуманила облаком кристальную ясность

его взора; Хэтти, чего доброго, одна выпьет полбутылки!

Но когда Суизин вспомнил о своей последней гостье, старческое лицо его стало похожим на мордочку кошки, которая собирается замурлыкать: миссис Сомс! Может быть, она и не станет много пить, но то, что выпьет, оценить сумеет: просто удовольствие угостить ее хорошим вином! Красивая женщина, и так расположена к нему! Мысль о ней и то действует как шампанское!

Просто удовольствие угощать дорогим вином молодую женщину, которая так хороша собой, так умеет одеться, так прекрасно держится, в которой столько благородства – просто удовольствие беседовать с ней. Тут Суизин в первый раз за весь вечер осторожно повел головой, ощущая при этом, как острые уголки воротничка впиваются ему в шею.

– Адольф! – сказал он. – Заморозьте еще одну бутылку.

Что касается его самого, то он может выпить много, этот рецепт Блайта замечательно помог ему, к тому же он предусмотрительно воздержался от завтрака. Давно уж у него не было такого прекрасного самочувствия. Выпятив нижнюю губу, Суизин давал последние наставления:

– Адольф, самую чуточку кабуля, когда займетесь ветчиной.

Пройдя в гостиную, он сел на кончик кресла, раздвинул колени, и его высокую массивную фигуру сразу же сковала странная, первобытная неподвижность ожидания. Он готов был в любую минуту встать. Званные обеды в его доме не да-

вались уже несколько месяцев. Сначала Суизин думал, что возня с этим приемом в честь помолвки Джун будет очень нудной (Форсайты свято соблюдали обычай торжественно праздновать помолвки), но с тех пор как хлопоты по рассылке приглашений и выбору меню кончились, он чувствовал приятное оживление.

Так он сидел с часами в руках – тучный, лоснящийся, как приплюснутый шар золотистого масла, – и ни о чем не думал.

Долговязый человек в бакенбардах, который служил когда-то у Суизина, а впоследствии открыл зеленную лавку, вошел в гостиную и провозгласил:

– Миссис Чесмен, миссис Септимус Смолл!

Появились две леди. Та, которая шла впереди, была одета во все красное, на щеках ее лежали широкие ровные пятна того же цвета, глаза смотрели жестко и вызывающе. Она направилась прямо к Суизину, протягивая ему руку, затянутую в длинную светло-желтую перчатку.

– Здравствуйте, Суизин, – сказала она, – целую вечность вас не видела. Как поживаете? Дорогой мой, как вы пополнили!

Только напряженный взгляд Суизина выдал его чувства. Глухой клокочущий гнев стеснял ему дыхание. Полнота вульгарна, и вульгарно говорить о том, что человек полнеет; у него широкая грудь, только и всего. Повернувшись к сестре, он сжал ей руку и сказал повелительным тоном:

– Здравствуй, Джули!

Миссис Септимус Смолл была самая высокая из четырех сестер; унылое выражение не сходило с ее добродушного круглого лица; кислая гримаса прочно застыла на нем, словно миссис Смолл вплоть до самого вечера просидела в проволочной маске, которая собрала ее неподатливую кожу в мелкие складочки. Даже взгляд у нее был кислый. Все это служило для того, чтобы свидетельствовать о ее неизменном горе по поводу утраты Септимуса Смолла.

Она славилась тем, что всегда говорила что-нибудь несуразное и с упорством, характерным для всего ее племени, держалась за свои слова, подбавляя еще что-нибудь невпопад, и так без конца. Со смертью мужа форсайтская цепкость, форсайтская деловитость окостенели в ней. Любительница поболтать, когда только ей представлялась такая возможность, она могла говорить часами без всякого оживления, рассказывая с эпической монотонностью о тех бесчисленных ударах, которые ей пришлось принять от судьбы; и ей никогда не приходило в голову, что слушатели станут на сторону судьбы, – сердце у Джули было доброе.

Долгие годы, проведенные у постели Смолла (человека слабого здоровья), сделали из нее сиделку, а таких случаев, когда бедняжке приходилось подолгу просиживать у постели больных – и детей и взрослых, – было множество, и она никак не могла расстаться с мыслью, что в мире слишком много неблагодарных людей. Воскресенье за воскресеньем Джули благоговейно слушала преподобного Томаса Скоулза

– блестящего проповедника, который имел на нее большое влияние; но ей удалось убедить всех, что даже в этом было ее несчастье. Она вошла в поговорку в семье, и если кто-нибудь начинал хандрить, его называли «настоящая Джули». Такие наклонности были способны уморить к сорока годам любого человека, только не Форсайта; но Джули уже стукнуло семьдесят два, а так хорошо, как сейчас, она никогда не выглядела. Казалось, что Джули еще не утратила дара наслаждаться жизнью и наступит время, когда она сумеет доказать это. У нее были три канарейки, кот Томми и половина попугая – второй половиной владела ее сестра Эстер; и эти существа (которых всячески старались убрать с глаз Тимоти: он не переносил животных), в противоположность людям, признавали за своей хозяйкой право на хандру и были страстно привязаны к ней.

В этот вечер она выглядела торжественно и пышно в черном бомбазиновом платье со скромной треугольной вставкой сиреневого цвета и бархаткой, повязанной вокруг тощей шеи; черное и сиреневое считались чуть ли не у всех Форсайтов самыми строгими тонами для вечерних туалетов.

Надув губы, она сказала Суизину:

– Энн про тебя спрашивала. Ты не был у нас целую вечность!

Суизин засунул большие пальцы за проймы жилета и ответил:

– Энн сильно сдала за последнее время; ей надо посовет-

товаться с врачами!

– Мистер и миссис Николас Форсайт!

Николас Форсайт вошел, улыбаясь и высоко подняв свои прямые брови. Днем ему посчастливилось провести план использования на Цейлонских золотых приисках одного племени из Верхней Индии – заветный план, который удалось наконец протащить, несмотря на все трудности, так что теперь он чувствовал вполне заслуженное удовлетворение. Добыча на его приисках удвоится, а опыт показывает, как Николас постоянно твердил, что каждый человек должен умереть, и умрет ли он дряхлым стариком у себя на родине или молодым от сырости на дне рудника в чужой стране, это, конечно, не имеет большого значения, принимая во внимание тот факт, что перемена в его образе жизни пойдет на пользу Британской империи.

В способностях Николаса никто не сомневался. Поводя своим орлиным носом, он сообщал слушателям:

– Из-за недостатка двух-трех сотен таких вот людишек мы уже несколько лет не выплачиваем дивидендов, а вы посмотрите, во что ценятся наши акции. Я не в состоянии заработать на них и десяти шиллингов.

Николас ездил недавно в Ярмут и, вернувшись оттуда, чувствовал, что к его жизни прибавится теперь по крайней мере десяток лет. Он сжал Суизину руку, весело крикнув:

– Ну вот, мы снова пожаловали!

Миссис Николас, болезненного вида женщина, улыбну-

лась за его спиной не то испуганной, не то радостной улыбкой.

– Мистер и миссис Джемс Форсайт! Мистер и миссис Сомс Форсайт!

Суизин щелкнул каблуками, его осанка была просто неподражаема.

– А, Джемс, Эмили! Как поживаешь, Сомс? Здравствуйте!

Он взял руку Ирэн и вытаращил глаза. Какая прелестная женщина, – пожалуй, слишком бледна, но фигура, глаза, зубы! Слишком хороша для этого Сомса!

Боги дали Ирэн темно-карие глаза и золотые волосы – своеобразное сочетание оттенков, которое привлекает взоры мужчин и, как говорят, свидетельствует о слабости характера. А ровная, мягкая белизна шеи и плеч, обрамленных золотистым платьем, придавала ей какую-то необычайную прелесть.

Сомс стоял позади жены, не сводя глаз с ее шеи. Стрелки на часах, которые Суизин все еще держал в руке открытыми, миновали восемь; обычно он обедал на полчаса раньше, а сегодня и завтрака не было – какое-то странное, первобытное нетерпение поднималось в нем.

– Джوليон запаздывает, это на него не похоже! – сказал он Ирэн, не сдержав досады. – Наверное, Джун там копается!

– Влюбленные всегда опаздывают, – ответила она.

Суизин уставился на Ирэн; на щеках у него проступил кирпичный румянец.

– Напрасно. Это все новомодные штучки!

Казалось, что в этой вспышке невнятно кипит и бормочет ярость первобытных поколений.

– Как вам нравится моя новая звезда, дядя Суизин? – мягко проговорила Ирэн.

Среди кружев у нее на груди мерцала пятиконечная звезда из одиннадцати бриллиантов.

Суизин посмотрел на звезду. Он хорошо разобрался в драгоценных камнях; никаким другим вопросом нельзя было так искусно отвлечь его внимание.

– Кто это вам подарил? – спросил он.

– Сомс.

Выражение лица Ирэн осталось прежним, но белесые глаза Суизина выкатились, словно его внезапно осенило даром прозрения.

– Вам, наверное, скучно дома, – сказал он. – Я жду вас к обеду в любой день, угощу таким шампанским, лучше которого вы не сыщете в Лондоне.

– Мисс Джун Форсайт, мистер Джолион Форсайт!.. Мистер *Босэнини*!..

Суизин поднял руку и сказал раскатистым голосом:

– Ну, теперь обедать, обедать!

Он подал руку Ирэн, заявив, что не сидел с ней рядом с тех пор, как она была невестой. Джун повел Босини; его усадили между ней и Ирэн. По другую сторону Джун сели Джемс и миссис Николас, дальше – старый Джолион с миссис Джемс,

Николас и Хэтти Чесмен, Сомс и миссис Смолл, круг замыкал Суизин.

Семейные обеды Форсайтов следуют определенным традициям. Так, например, на них не полагается подавать закуски. Почему – неизвестно. Теория, существующая среди молодого поколения, объясняет эту традицию безбожной ценой на устрицы; но гораздо более вероятно, что запрет этот вызван желанием подойти сразу к сути дела и трезвостью взглядов, несовместимой с таким вздором, как закуски. Только семья Джемса не смогла противиться обычаю, установленному почти всюду на Парк-Лейн, и время от времени нарушала его.

Безмолвное, чуть ли не угрюмое невнимание друг к другу начинает ощущаться вслед за тем, как все опускаются на свои места; оно длится до появления первого блюда, изредка прерываемое такого рода замечаниями: «Том опять нездоров; не пойму, что с ним такое!» – «Энн, вероятно, не выходит по утрам к завтраку?» – «Как фамилия твоего врача, Фанни? Стабс? Он шарлатан!» – «Уинифрид! У нее слишком много детей. Четверо, кажется? Она худа как щепка!» – «Сколько ты платишь за херес, Суизин? По-моему, он слишком сухой».

После второго бокала шампанского над столом поднимается жужжание, которое, если отвести от него случайные призывки и восстановить его основную сущность, оказывается не чем иным, как голосом Джемса, рассказывающего ка-

кую-то историю. Жужжание долго не умолкает, а иногда даже захватывает ту часть обеда, которая должна быть единогласно признана самой торжественной минутой форсайтского пиршества и наступает с появлением «седла барашка».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.